

Конец одиночества

Автор:

[Бенедикт Велльс](#)

Конец одиночества

Бенедикт Велльс

Азбука-бестселлер

Немецкого писателя Бенедикта Велльса (р. 1984) называют одним из самых талантливых представителей молодого поколения. «Конец одиночества» – это трогательное повествование, роман-биография, роман-притча. Жюль, Марти и Лиз растут в счастливой семье. Окруженные вниманием и заботой, они не подозревают, что всю их жизнь изменит гибель родителей. Последующее пребывание в интернате разделяет детей – каждый из них выбирает свой путь, полный ошибок и потерь. Проходят годы, и повзрослевший Жюль, главный герой романа, стремится переписать собственную судьбу и наверстать упущенное, чтобы посвятить себя призванию и обрести любовь хрупкой загадочной девушки Альвы. Роман был опубликован в начале 2016 года и занял третье место в списке бестселлеров журнала «Der Spiegel»; книга удостоена премии «European Union Prize for Literature».

Впервые на русском языке.

Бенедикт Велльс

Конец одиночества

Benedict Wells

VOM ENDE DER EINSAMKEIT

Copyright © 2016 by Diogenes Verlag AG Zurich

All rights reserved

© И. Стреблова, перевод, 2017

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство АЗБУКА®

* * *

Моей сестре

Придвинь свой стул на край пропасти, и тогда я расскажу тебе историю.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Часть I

Я давно знаю смерть, но теперь и смерть знает меня.

Осторожно приоткрываю глаза и смотрю. Постепенно тьма рассеивается. Пустое помещение, освещаемое лишь миганием зеленых и красных лампочек различных аппаратов и лучом света, проникающим в приотворенную дверь. Ночная тишина больничного здания.

Мне кажется, что я очнулся от многодневных снов. Глухая, теплая боль в правой ноге, в животе, в груди. Голова слабо гудит, гудение усиливается. Понемногу я начинаю догадываться, что произошло.

Я выжил.

Перед глазами встают картины. Как я выезжаю из города на мотоцикле, прибавляю скорость, впереди – поворот. Как колеса теряют сцепление с грунтом, я вижу летящее на меня дерево, тщетно пытаюсь увернуться от столкновения, закрываю глаза.

Что спасло меня?

Я оглядываю свое тело. На шее – воротник, правая нога обездвижена, вероятно в гипсе, повязка на ключице. До аварии я был в хорошей форме, даже очень хорошей для моего возраста. Возможно, это меня и спасло.

До аварии... Или там было что-то еще, совсем другое? Но я не хочу об этом вспоминать. Лучше, подумал я, буду вспоминать тот день, когда я учил детей кидать камешки, чтобы на воде получались блинчики. Вспоминать, как жестикулировал брат, споря со мной. Или как мы с женой были в Италии и встречали рассвет, гуляя вдоль бухты на амальфийском побережье под плеск набегающих на скалы волн.

Меня одолела дремота. Во сне мы стоим на балконе. Она смотрит мне в глаза пронзительным взглядом, словно видит меня насквозь. Легким кивком она показывает на внутренний дворик, где наши дети как раз играют с соседскими мальчиками. В то время как наша дочь отважно вскарабкалась на каменную стену, сын не торопится повторять за ней, а только со стороны наблюдает, что делают другие.

– В этом он весь в тебя, – говорит жена.

Я слышу ее смех и ловлю ее руку.

Один аппарат прерывисто запищал. Медбрат меняет пакет с раствором для инъекции. Вокруг все еще глухая ночь. «Сентябрь 2014» – написано на настенном календаре. Я пробую приподняться.

– Какой сегодня день? – Мой голос звучит как чужой.

– Среда, – отвечает медбрат. – Два дня вы провели в коме.

Сказано будто о ком-то другом.

– Как вы себя чувствуете?

Я снова откидываюсь на подушку:

– Немного кружится голова.

– Это вполне нормально.

– Когда я смогу повидать детей?

– Завтра с утра я позвоню вашим родным.

Медбрат идет к двери. Не дойдя до нее, останавливается:

– Если что – звоните. Сейчас к вам заглянет доктор.

Не дожидаясь ответа, он уходит.

От чего зависит, что жизнь складывается так, как есть?

В наступившей тишине становится слышна каждая мысль. Я точно вдруг пробудился. Принимаюсь перебирать отдельные этапы прожитой жизни. В памяти всплывают, казалось бы, давно забытые лица. Я вижу себя подростком на спортплощадке интерната и красный свет в домашней фотолаборатории в Гамбурге. Сначала воспоминания проступают в размытых очертаниях, но с каждым часом делаются все четче. Мысли мои все дальше углубляются в

прошлое, а затем возвращают меня к той катастрофе, чья тень омрачила мое детство.

Течения

(1980)

Когда мне было семь лет, родители проводили с нами отпуск на юге Франции. Мой отец Стефан Моро был родом из Бердильяка – деревни в окрестностях Монпелье. Население – одна тысяча восемьсот человек, одна булочная, одна мясная лавка, две винодельные фермы, одна столярная мастерская и одна футбольная команда. Мы гостили у бабушки, которая в последние годы никуда не выезжала из своей деревеньки.

На отце светло-коричневая кожаная куртка, вечная спутница дальних поездок на машине, в зубах у него трубка. Мама, дремавшая бо?льшую часть пути, поставила кассету с песнями Битлов. Обернувшись ко мне, сказала:

– Для тебя, Жюль.

«Paperback writer»[1 - «Писатель бульварных романов» (англ.).] – в то время моя любимая.

Я сидел за спиной у мамы и тихонько подпевал. Музыку заглушали голоса брата и сестры. Сестра ущипнула брата за ухо. Мартин – дома его всегда звали Марти – громко вскрикнул и стал жаловаться родителям.

– Ябеда, – снова дернула его за ухо Лиз.

Ссора набирала силу, пока наконец мама не обернулась и не взглянула на них. Этот взгляд был вершиной выразительности. В нем выразилось сочувствие к Марти за то, что ему приходится терпеть безобразное поведение сестры, а также и к Лиз, которой достался такой нервный брат, но главным образом ее взгляд говорил, что ссориться – это последнее дело, и даже намекал на то, что хорошим детям на следующей заправке, возможно, перепадет по мороженому.

Брат и сестра тотчас же отстали друг от друга.

- Почему обязательно нужно каждый год ездить к бабушке? - спросил Марти. - Неужели нельзя было съездить в Италию?

- Потому что так положено. И потому что ваш приезд всегда радость для вашей маміе[2 - Бабуля (фр.)], - по-французски сказал папа, не вынимая трубки изо рта.

- Неправда! Она совсем нас не любит.

- А еще от нее так странно пахнет, - сказала Лиз. - Как от старого плюшевого дивана.

- Нет, от нее пахнет, как из сырого подвала, - сказал мой брат.

- Перестаньте болтать всякую чепуху о вашей маміе! - бросил папа, вырывая с развязки.

Я смотрю в окно. Вдали тянулись заросли тимьяна, гаррига[3 - Заросли вечнозеленых кустарников.], низкорослые корявые дубочки. В Южной Франции воздух был душистее, а краски ярче, чем у нас дома. Я засунул руку в карман и потрогал серебряные франки, сохранившиеся у меня от прошлого года.

К вечеру мы подъехали к Бердильяку. Деревенька всегда напоминала мне ворчливого, но доброго старичка, который целые дни проводит в полудреме. Как это часто можно видеть в Лангедоке, дома здесь были из песчаника с простенькими ставнями на окнах и красноватыми ветхими черепичными крышами, на закате все было омыто мягким солнечным светом.

Под колесами закрипел гравий, и наш комби остановился перед домом в конце улицы Ле Гофф. От дома с увитым плющом фасадом и обветшалой крышей веяло нездешней таинственностью. Здесь пахло прошлым.

Отец вышел первым и пружинистым шагом поспешил к двери. Должно быть, для него в том возрасте наступили, что называется, лучшие годы. На середине четвертого десятка у него еще были густые черные волосы, в общении с людьми

он привлекал всех обаятельной вежливостью. Я не раз видел, как он стоит окруженный соседями или сослуживцами и все зачарованно слушают, что он рассказывает. Главный секрет был в его голосе, мягком, не слишком густом и не слишком звонком, его выговор с едва заметным акцентом, как арканом, улавливал и притягивал к нему слушателя. Его очень уважали как специалиста по экономической экспертизе, но важнее всего для него была семья. Каждое воскресенье он что-нибудь готовил для нас на кухне, на детей он никогда не жалел времени, а мальчишеская озорная улыбка выражала оптимистический настрой. Впоследствии, глядя на его фотографии, я, правда, заметил, что уже тогда что-то с ним было не так. Его глаза. В них проблескивало что-то горькое, может быть, даже страх.

На крыльцо вышла наша бабушка. Рот у нее был кривой, и на сына она почти не смотрела, словно стыдилась чего-то. Они обнялись друг с другом.

Мы глядели на эту сцену из машины. Говорили, будто бы в молодости наша бабушка была выдающейся пловчихой и в деревне все ее любили. Наверное, это было сто лет назад. У нее были хилые плечики и морщинистая черепашья головка. Казалось, она с трудом переносит галдеж своих внуков. Мы, ребятишки, робели перед ней и этим скупо обставленным домом с вышедшими из моды обоями и железными кроватями. Для нас было загадкой, отчего наш отец стремится сюда каждое лето. «Было похоже, как будто его из года в год тянет возвращаться туда, где он пережил величайшее унижение», – сказал об этом как-то потом Марти.

Но было и другое: утренний аромат кофе. Солнечные лучи на выложенном плиткой полу гостиной. Доносящееся из кухни негромкое позвякивание, когда брат и сестра доставали к завтраку приборы. Папа, погруженный в чтение газеты, мама, строящая планы на предстоящий день. Потом посещение пещер, велосипедные прогулки или игра в петанк[4 - Распространенная во Франции игра в шары.] в парке.

И в заключение в конце августа ежегодный праздник винограда. Вечером в Бердильяке играл оркестр, дома были украшены разноцветными фонариками и гирляндами, а по улицам разносился запах поджаренного на гриле мяса. Мы, трое детей, сидим на ступенях ратуши и смотрим, как танцуют на деревенской площади взрослые. У меня в руке фотокамера, которую мне доверил отец. Тяжелая и дорогушая «Мамия». Мне поручено снимать праздник. Я воспринимал это поручение как почетное. Обычно отец никому не давал в руки свою камеру. Я

был горд, делая снимки, в то время как он элегантно вел в танце маму.

- Папа хорошо танцует, - с видом знатока произнесла Лиз.

Моей сестре было одиннадцать лет, она была рослая девочка с белокурыми кудрями. В ней уже тогда было то, что мы с братом называли «театральной болезнью»: Лиз всегда держалась так, словно стоит на сцене. Она сияла лучезарной улыбкой, словно на нее со всех сторон светят прожекторы, и говорила так громко и отчетливо, будто каждое ее слово должны услышать зрители в самых задних рядах. Перед чужими она изображала не по годам взрослую девочку, хотя на самом деле только что вышла из стадии «маленькой принцессы». Сестра рисовала и пела, любила играть на улице с соседскими детьми, иногда по нескольку дней забывала принимать душ и то мечтала стать изобретательницей, то вдруг воображала себя эльфом, и в ее голове, кажется, одновременно уживалась тысяча разных вещей.

В то время девочки в большинстве подсмеивались над Лиз. Я часто видел, как мама сидит у нее в комнате, гладит ее и утешает, потому что ее опять дразнили девчонки или запрятали куда-то ее ранец. После таких разговоров меня тоже допускали в ее комнату. Лиз порывисто обнимала меня за шею, я ощущал на себе ее жаркое дыхание, и она снова повторяла рассказ, только что выслушанный мамой, причем, скорее всего, с добавлениями. Не могу выразить, как я любил сестру, и это чувство не изменилось даже тогда, когда она спустя годы бросила меня в беде.

* * *

Ночью не посвежело, время уже было за полночь, а в воздухе по-прежнему стояла духота. Мужчины и женщины, которые танцевали на площади, и наши родители тоже после каждой песни менялись партнерами. Я сделал еще один снимок, хотя «Мамия» чуть ли не валилась у меня из рук.

- Дай-ка мне камеру, - сказал брат.

- Нет. Папа дал ее мне. Он велел мне смотреть, чтобы с ней ничего не случилось.

– Мне на минутку. Я только хочу сделать одну фотографию, ты же все равно не сумеешь.

Марти выхватил у меня из рук фотоаппарат.

– Ну чего ты к нему пристал, – сказала Лиз. – Он так радовался, что может ее подержать.

– Да. А фотографирует он все равно паршиво. Он не умеет рассчитывать выдержку.

– Подумаешь, тоже мне умник нашелся! Неудивительно, что с тобой никто не дружит.

Марти щелкнул несколько снимков. Он был средним по возрасту. Десятилетний. В очках, темноволосый, бледное, невыразительное лицо. Если у меня и у Лиз заметно проступали черты родителей, у него внешне нельзя было обнаружить никакого сходства. Словно чужак, неизвестно откуда затесавшийся в нашу семью. Я его нисколечко не любил. В моих любимых фильмах старшие братья были героическими ребятами, которые всегда заступались за младших сестер и братьев и стояли за них горой. Мой же брат сторонился нас, целыми днями сидел один у себя в комнате и играл там со своей муравьиной колонией или изучал под микроскопом кровь, взятую из анатомированных саламандр и мышей, его запасы мертвых животных казались неиссякаемыми. Лиз недавно назвала его «противным фриком», и, пожалуй, попала в самую точку.

От той поездки во Францию у меня, кроме трагического случая, которым она закончилась, сохранились в памяти лишь обрывочные воспоминания. Конечно, я хорошо помню, как мы тогда на празднике смотрели на французских детей. Они играли на площади в футбол, и нас, глядя на них, охватило острое чувство отчужденности. Мы все родились в Мюнхене и ощущали себя немцами. Дома у нас, кроме разве что нескольких особенных блюд, ничто не напоминало о французских корнях, и только в редких случаях мы разговаривали по-французски. А между тем наши родители познакомились друг с другом в Монпелье. Мой отец уехал туда после окончания школы, чтобы подальше сбежать из семьи. Моя мама туда переехала из любви к Франции. (И потому, что тоже хотела сбежать от семьи.) Когда родители рассказывали об этом времени, то вспоминали о том, как ходили в кино на вечерний сеанс, как мама играла на

гитаре, о своей первой встрече на студенческой вечеринке у общего друга или о том, как они вместе (мама уже беременная) отправились в Мюнхен. После этих рассказов мы, дети, считали, что хорошо знаем своих родителей. Но потом, когда их не стало, мы поняли, что не знали о них ничего.

* * *

Мы отправились на прогулку, но отец заранее ничего не сказал о том, куда мы идем, и всю дорогу был молчалив. Впятером мы поднялись на холм и очутились перед лесочком. У могучего дуба на холме отец остановился.

– Видите, что на нем вырезано? – спросил он как-то отстраненно.

– «L'arbre d'Eric», – прочла Лиз, – дерево Эрика.

Мы посмотрели на дуб.

– Тут кто-то обрубил ветку, – указал Марти на круглую выпуклость, выделяющуюся на стволе.

– Да, действительно, – как бы про себя согласился папа.

Мы, дети, никогда не видели дядю Эрика. Говорили, что он давно погиб.

– А почему это дерево так называется? – спросила Лиз.

Хмурое выражение сбежало с папиного лица.

– Потому что под этим деревом мой брат соблазнял своих девушек. Он приводил их сюда, они садились на эту скамью, смотрели сверху на долину, он читал им стихи, а потом целовал.

– Стихи? – переспросил Марти. – И это срабатывало?

– Срабатывало каждый раз. И потому какой-то шутник вырезал ножом на коре эти слова.

Он смотрел в утреннюю лазурь неба, мама стояла, прислонившись к нему. Я взглянул на дерево и мысленно повторил: «L'arbre d'Eric».

* * *

А затем каникулы подошли к концу, и была еще одна прощальная прогулка. Ночью опять прошел дождь, и на листьях висели толстые капли росы. Утренний воздух обдавал меня свежестью. Как обычно после раннего подъема, у меня было чудесное чувство, что весь день принадлежит мне. Недавно я познакомился с местной девочкой Людивиной и рассказал о ней маме. Папа, как всегда под конец проведенного во Франции отпуска, повеселел; казалось, он с облегчением расправил плечи при мысли, что все позади и до следующего года об этом можно не думать. Иногда он останавливался, чтобы сделать снимок, и все время что-то насвистывал. Лиз шагала впереди, Марти тащился позади всех, и почти всегда приходилось дожидаться, пока он нас догонит.

В лесу мы наткнулись на каменистую речку, через нее было перекинута поваленное дерево. Зная, что нам нужно перебраться на тот берег, мы, дети, спросили, можно ли нам по нему перейти.

Папа ступил на бревно, проверяя его надежность.

- Пожалуй, это опасно, - сказал он. - Я точно по нему не пойду.

Мы тоже вскочили на бревно. Только тут мы осознали, как высоко оно над водой и как широка и камениста речка. До того берега всего-то и было метров десять, но если поскользнешься и упадешь, то легким ушибом не отделаешься.

- Немного подальше наверняка будет мостик, - сказала Лиз.

Обыкновенно она любила пробовать все сама, но на этот раз сдрейфила и ушла, брат последовал ее примеру. Только я остался и никуда не пошел. Страх был мне тогда неведом, всего несколько месяцев назад я единственный из класса решил съехать на велосипеде по крутому склону. Через несколько метров я потерял управление, перевернулся через голову и сломал себе руку. Но едва с меня сняли гипс и кость срослась, я начал искать новых опасных приключений.

Не отрывая глаз от бревна, я не задумываясь шагнул на него и двинулся вперед.

- Не сходи с ума, - крикнул Марти.

Но я не слушал.

Один раз я чуть было не поскользнулся, от одного взгляда вниз у меня закружилась голова, но в это время я уже дошел до середины. Сердце заколотилось быстрее, последние два метра я преодолел бегом и благополучно очутился на другом берегу. От облегчения я вскинул вверх руки. Все, кроме меня, шли по левому берегу, и только я по правому, время от времени я поглядывал на них с ухмылкой. Никогда еще я не гордился собой так, как в тот раз.

* * *

Река вытекала из леса, оставляя его позади. Русло становилась шире, течение - быстрее, после прошедших в последние дни дождей уровень воды поднялся. Илистый берег размок, специальная табличка предостерегала гуляющих, что к воде нельзя приближаться.

- Если свалиться туда, потонешь, - сказал Марти, глядя на бурливый поток.

- Хорошо бы ты туда бухнулся, и мы наконец избавились бы от тебя, - сказала Лиз.

Он пнул в нее ногой, но она ловко увернулась и ухватилась за маму, взяв ее под руку с тем спокойным и самоуверенным выражением, какое было свойственно только ей.

- Ты опять задиралась? - спросила мама. - Придется нам, кажется, оставить тебя тут у бабушки.

- Нет! - воскликнула Лиз с полунаигранным-полуискренним ужасом в голосе. - Только не это, пожалуйста!

– К сожалению, ты не оставляешь мне другого выбора. Уж бабушка за тобой сумеет присмотреть! – Мама посмотрела бабушкиным укоризненным взглядом, и Лиз рассмеялась.

Мама определенно была в нашей семье звездой, по крайней мере для нас, детей. Она была обаятельна и грациозна, друзей у нее было по всему Мюнхену, и, когда она приглашала гостей, на ее обеды собирались художники, музыканты и театральные актеры, с которыми она бог весть как познакомилась. Впрочем, я сильно преуменьшаю, говоря о ней «обаятельная» и «грациозная». Эти жалкие слова не способны даже приблизительно передать те чувства, которые мы испытывали от восхищения тем, что мама сочетала в себе Грейс Келли и Ингрид Бергман. В детстве я не мог понять, почему она стала не знаменитой актрисой, а простой учительницей. Сама она несла свои домашние обязанности с легкой и одновременно доброй улыбкой, и только гораздо позже я понял, как тесно ей должно было жить в этих условиях.

На лужайке возле реки мы расположились для отдыха. Папа набил свою трубку, а мы принялись подкрепляться принесенными из дома багетами с ветчиной. Потом мама сыграла на гитаре несколько шансонов Жильбера Беко.

Когда они с папой стали петь под гитару, Марти, закатывая глаза, сказал:

– Пожалуйста, перестаньте, неудобно же.

– Но ведь тут никого нет, – возразила мама.

– Как – нет! А там? – сказал мой брат, кивая на другой берег, где только что расположилась другая семья. У них были дети нашего возраста и большой щенок смешанной породы, который носился вокруг как угорелый.

Настал полдень, солнце высоко поднялось в небе. В наступившей жаре мы с Марти сняли с себя футболки и разлеглись на одеяле. Лиз черкала карандашом в альбоме, делая мелкие зарисовки, и выводила между ними свое имя, пробуя, каким почерком оно будет выглядеть красивее. Тогда она все покрывала этой надписью: на бумаге, на столе, в календаре или на салфетках – всюду красовалось «Лиз, Лиз, Лиз».

Родители пошли прогуляться, плечом к плечу они скрылись из вида. Мы, дети, остались на лужайке. Ландшафт был насквозь пронизан солнечными лучами. Марти и Лиз играли в карты, я брэнчал на гитаре и разглядывал семейство на том берегу. Оттуда то и дело раздавались взрывы хохота, перемежающиеся с собачьим лаем. Один мальчик время от времени кидал палку, а пес ее приносил. Наконец мальчику надоело это занятие, и он спрятал палку под одеяло. Щенок же еще не наигрался, он ластился то к одному, то к другому, а затем побежал вниз по течению. Довольно большая ветка залетела в гущу прибрежных кустов. Пес пробовал вытащить ее оттуда зубами, но у него не получалось. В этом месте было сильное и быстрое течение. Я один наблюдал за этой сценой и ощутил, как у меня встали дыбом волосы на затылке.

Щенок дергал ветку и, раззадорясь, все ближе подходил к бурлящей воде. Только было я собрался обратить на это внимание людей на том берегу, как вдруг послышался жалобный скулеж. Кусок берега обломился, и щенок упал в воду. Он еще цеплялся за ветку передними лапами и зубами. Он скулил и силился вскарабкаться на осыпающийся берег, но течение было слишком сильным. Пес заскулил громче.

– Ой, господи! – воскликнула Лиз.

– Ему не выбраться, – произнес Марти, словно судья, от которого зависел приговор.

Семья на том берегу бросилась на помощь собаке. Но не успели они добежать, как ветка выскользнула из кустов и вместе с беспородным щенком поплыла по реке.

Какое-то время он еще высовывал голову из воды, затем исчез. Дети на том берегу кричали и плакали, а я повернулся и посмотрел на лица брата и сестры. Выражение их глаз запомнилось мне на всю жизнь.

* * *

Вечером, когда я лег в кровать, в ушах у меня все еще стоял голос скулящей собаки. Лиз весь день проходила подавленная. Марти почти не разговаривал. Но самое странное, что наших родителей не было рядом, когда это случилось.

Вернувшись, они, конечно, старались нас успокоить, однако это уже не меняло дела: мы только что пережили большое потрясение без них.

Я тогда полночи проворочался в постели. У меня не шло из головы, как в считанные секунды было разрушено счастье семьи на том берегу. Мне снова вспомнился дядя Эрик и как нам однажды сказали, что он погиб. До этого дня я чувствовал себя защищенным, но, как видно, в мире существовали какие-то незримые силы, способные все изменить в одно мгновение. Очевидно, есть семьи, к которым судьба милостива, и семьи, притягивающие к себе несчастье. И в эту ночь я спрашивал себя, не принадлежит ли наша семья к числу последних.

У переводной стрелки

(1983-1984)

Три года спустя, декабрь 1983 года – последнее Рождество с родителями. Наступал вечер, и я стоял у окна своей детской, все остальные убрали к празднику гостиную. Как всегда, меня собирались позвать, только когда все будет наряжено, – но сколько еще оставалось ждать? Я слышал за дверью ворчание брата, звонкий, добродушный смех мамы, слышал, как отец и сестра обсуждают, какую выбрать скатерть. Чтобы отвлечься, я глядел на двор, на позимнему голые деревья, качели и домик на дереве. За последние годы многое изменилось, но вид любимого дворика оставался прежним.

В дверь постучали. Вошел отец в темно-синем кашемировом свитере, с трубкой в зубах. Ему уже было под сорок. Черные волосы надо лбом поредели, пропала молодая улыбка. Что с ним произошло? Раньше он казался веселым и беззаботным, а тут вдруг передо мной эта поникшая фигура.

Теперь они с мамой редко делали что-то вместе, зато отец стал часами где-то пропадать – уходил фотографировать. Однако никаких фотографий он потом не показывал, и, даже играя с друзьями, я спиной чувствовал на себе его хмурый взгляд. В его глазах мир представлялся полным всевозможных опасностей. Например, во время езды на машине, когда за рулем сидела мама. («Слишком быстро, Лена. Так ты всех нас угробишь!») Или когда я, как всегда летом, хотел по бревну перейти через речку. («Жюль, я просто не могу больше на это

смотреть: если ты сорвешься, то сломаешь себе шею!») Или когда Лиз собиралась пойти с подружками на концерт. («Это я категорически запрещаю. Кто знает, какая публика туда шляется».) Если бы мой отец написал книжку добрых советов, она, скорее всего, называлась бы «Лучше этого не делать».

Только гоня в парке с друзьями мяч, он освобождался от привычной зажатости, и я гордился им, глядя, как он, словно на крыльях, летает по полю, обыгрывая всех соперников. Подростком, еще во Франции, он играл в клубной команде и выработал безошибочное чувство пространства, умел предугадать пасы противника и поспеивал в нужный момент в открывшиеся проходы так, словно он был тут единственный, кто по-настоящему понимает игру.

Отец встал рядом со мной у окна. От него пахло табаком и мшистым запахом терпкой туалетной воды.

– Ты радуешься наступающему празднику, Жюль?

Я кивнул, и он ласково потрепал меня по плечу. Раньше, когда он приходил с работы, мы с ним часто гуляли вечером по Швабингу[5 - Район Мюнхена.]. Тогда там еще были старые угловые пивные и закусочные со стойками, заросшие грязью желтые кабинки телефона-автомата и мелочные лавочки, где продавались шоколадки, шерстяные носки и обожаемые мною сертификаты на владение участками на луне. Этот район был похож на непомерно разросшуюся деревню, и время в нем замедляло свой ход. Иногда мы где-нибудь в парке ели мороженое, и папа рассказывал мне, как он в молодые годы нанимался портовым рабочим в Саутгемптон, чтобы заработать денег на университет и заодно поучиться английскому, или про озорные проказы своего брата, когда они еще были маленькими, и эти истории я любил больше всего.

Но особенно мне запомнился совет, который он дал мне во время нашей последней прогулки. Сперва я толком не понял его слова, но с годами они стали для меня отцовским заветом.

Папа тогда сказал:

– Самое главное, Жюль, – найти настоящего друга.

Он видел, что я не понимаю, и настойчиво повторил, глядя на меня:

– Твой настоящий друг – это тот, кто всегда отзовется, кто всю жизнь пройдет бок о бок с тобой. Ты должен его найти, это важнее всего, важнее даже, чем любовь. Потому что любовь, бывает, проходит. – Он взял меня рукой за плечо. – Ты слушаешь?

Я играл с палочкой, которую подобрал на земле. Отбросив палку, я спросил:

– А кто твой настоящий друг?

Отец только покачал головой:

– Я его потерял. – И, не вынимая изо рта трубку, сказал: – Правда же, странно? Вот так взял – и потерял.

Тогда я не понял, и слова эти упали в пустоту, а может быть, я догадывался, что в этом добром совете отразился его собственный опыт пережитых разочарований. Однако, несмотря ни на что, я навсегда запомнил его совет, о чем теперь сожалею – лучше было этого не делать.

– Ходят слухи, что тебя ждет по-настоящему шикарный подарок, – сказал папа, выходя из комнаты.

– Правда? И что же это будет?

Он улыбнулся:

– Придется тебе еще несколько минут потерпеть.

Это было нелегко. За дверью уже были слышны звуки рояля: «Stille Nacht» и «A la venue de Noël» [б - «Ночь тиха» (нем.), «До наступления Рождества» (фр.) – популярные рождественские песни.]. Наконец, бегом по коридору, примчались Лиз и Марти и распахнули дверь.

– Давай пошли!

Высокая, до потолка, елка была украшена шариками, деревянными фигурками и свечками, под ней лежала груда подарков, пахло воском и еловыми ветками. На столе красовалась большая индейка с запеченной картошкой, рагу из барашка, ростбиф, брусничное варенье, сладкий песочный пирог и паштеты. Как всегда, еды было наготовлено с большим запасом, так что оставшееся от рождественского стола доедали потом не разогревая, прямо из холодильника, и это мне особенно нравилось.

После застолья мы пели рождественские песни, за этим последовал еще один ритуал – последний перед раздачей подарков: мама сыграла на гитаре «Moon River» [7 - «Лунная река» (англ.)]. Этот момент мама всегда растягивала, чтобы насладиться им в полной мере.

– Вам действительно хочется послушать эту песню? – спрашивала она.

– Да, – отвечали мы хором.

– Ну, не знаю... По-моему, вы просите из вежливости.

– Нет, мы хотим ее слушать! – кричим мы громче прежнего.

– Дайте мне новую публику, – разочарованно вздыхает мама. – Эта уже насытилась, и я ей не интересна.

Мы принимаемся кричать еще громче, и наконец она снова берет в руки гитару.

Мама по-прежнему оставалась для нас центром семьи. При ней вечные ссоры брата и сестры превращались в глупые словесные перепалки, над которыми можно было только посмеяться, а школьные кризисы – в мелкие неприятности, что решались в два счета. Для Лиз она выполняла роль послушной модели и с интересом смотрела, когда Марти показывал ей результаты своих занятий с микроскопом. Меня она учила стряпать и даже раскрыла секрет «объединенного» торта – липкой шоколадной пасты, от которой невозможно было оторваться. И хотя она была немного ленива (классическая сцена: мама лежит на кушетке и посылает нас за чем-нибудь к холодильнику), мы все хотели быть похожими на нее.

Наконец она начинает играть, и ее голос заполняет пространство:

Moon River, wider than a mile.

I'm crossing you in style some day.

Oh, dream maker, you heart breaker,

Wherever you're going I'm going your way[8 - Лунная река, шириной больше мили, Однажды я с легкостью переплыву тебя. О, источник грез и разрушительница сердец, Куда бы ты ни следовала, я пойду тем же путем.(англ.)].

Наступил единственный в году миг совершенной гармонии. Лиз слушала открыв рот, мой брат растроганно поправлял свои очки, папа слушал с печальным взглядом, но с восхищенным выражением на лице. Рядом с ним сидела мамина старшая сестра тетя Хелена, благодушная полнотелая женщина, одиноко жившая в своей квартире в районе Глокенбах и всегда приносившая щедрейшие подарки. Не считая бабушки во Франции, у нас, кроме нее, больше не было других родственников, так что род Моро был представлен на фамильном древе одной-единственной тоненькой веточкой.

Когда началась раздача подарков, я в первую очередь схватил папин. Это был большой, увесистый сверток. Я разорвал пакет: старая «Мамия». Отец смотрит на меня с радостным ожиданием. Камера показалась мне знакомой, но после праздника в Бердильяке я ею ни разу больше не фотографировал. Вдобавок это была уже не новая и довольно поцарапанная камера, ее линза напоминала гигантский глаз циклопа, кнопки срабатывали с громким щелканьем. Недовольный, я отложил фотоаппарат и начал смотреть другие подарки.

Мама подарила мне красную записную книжку в кожаном переплете и три романа: «Том Сойер», «Маленький принц» и «Крабат»[9 - «Крабат – ученик колдуна» – повесть для детей Отфрида Пройслера.]. Мама все еще читала мне вслух перед сном, но иногда просила, чтобы почитал я, и хвалила, если я читал хорошо. Незадолго до Рождества я впервые сам написал историю про заколдованную собаку. Маме она очень понравилась. Я взял красную записную книжку и, когда все занялись настольными играми, стал записывать в нее свои мысли.

* * *

Незадолго до Нового года мы впервые увидели, как папа плачет. После обеда я, лежа на кровати, писал новый рассказ. В нем шла речь о такой библиотеке, где книжки по ночам ведут беседы, хвастаясь своим автором или жалуясь, что засунуты на плохие места в задних стеллажах.

Без стука ко мне в комнату вошла сестра. Заговорщицки улыбаясь, она закрыла за собой дверь.

- Ну, что там у тебя?

Вообще-то, можно было заранее предугадать, о чем она хочет поговорить. Лиз к этому времени исполнилось уже четырнадцать, и ее интересовали три вещи: рисование, киношный кич про любовь и мальчики. Сейчас она была самой красивой в классе: белокурая и кудрявая, с низким голосом и с такой улыбкой, при помощи которой она кого угодно могла обернуть вокруг пальца. На перемене в школьном дворе ее можно было видеть в окружении других девочек. Она рассказывала им, с какими мальчиками опять целовалась и как это было скучно или в лучшем случае посредственно. «Хорошо» она никому не ставила, причем это всегда были старшие мальчики из чужой школы, одноклассники не имели у нее никаких шансов. Иногда они все-таки делали робкие попытки, но Лиз на них даже не смотрела.

Подсев ко мне на кровать, она толкнула меня в бок:

- А ты предатель!

Я продолжал писать свой рассказ и слушал ее только вполуха.

- Что?

- Ты целовался с девочкой.

Щеки у меня запылали.

- А ты откуда знаешь?

– Одна моя подруга видела тебя. Она говорит, это было прямо здесь, перед домом, и ты засунул ей язык чуть ли не в горло. Она сказала: «Как два лабрадора».

Лиз засмеялась, выхватила у меня записную книжку и принялась чертить в ней всякие фигурки и свое имя: «Лиз, Лиз, Лиз».

Насчет поцелуя все так и было. Я умел разговаривать с девчонками, как с ребятами, и порой мне передавали под партой любовные записки. Жизнь, казалось, была полна подобными обещаниями, и они укрепляли мою самоуверенность. Хотя я был старостой класса, но на уроках часто болтал или с независимой ухмылкой сидел, положи ноги на парту, пока учитель не делал мне замечание. Потом я стал считать такое поведение наглым, но тогда мне нравилось задавать тон в своем кружке и быть в центре внимания. Я уже водился с ребятами постарше и часто дрался. Стоило кому-нибудь из новой группы сказать обо мне что-то не так, я сразу же лез на него с кулаками. Несколько ребят из тех, что постарше, уже пробовали дурь и пили алкоголь, но я не решался, хотя мне тоже предлагали, и не говорил им, что люблю читать и сам выдумываю разные истории. Я знал, что надо мной стали бы смеяться и что эту сторону своей жизни надо от них тщательно скрывать.

– Ну и каково это – целоваться? – спросила Лиз, кидая записную книжку мне на колени.

– Не твое дело.

– Да ладно, скажи уж! Мы же всегда всё друг другу рассказывали.

– Мало ли что рассказывали, а сейчас не хочу.

Я поднялся и пошел в папин кабинет, где всегда в воздухе чувствовался немного затхлый запах старой бумаги и пыльных папок. Услышав, что за мной увязалась сестра, я стал деловито рыться в ящиках письменного стола. Почти во всех не было ничего, кроме старых очечников, бутылочек с чернилами и пожелтевших бумажек с заметками. И вдруг в самом нижнем я наткнулся на «Лейку». Черный кожух, серебряный объектив. Она лежала в фабричной упаковке. Я никогда не видел ее у папы в руках. В ящике оказалось еще и письмо, написанное по-

французски незнакомым мне почерком.

Дорогой Стефан!

Эта камера – тебе. Пусть она напоминает тебе, кто ты есть, чтобы ты не поддавался, если жизнь захочет тебя сломать. Постарайся, пожалуйста, меня понять.

Чье это было письмо? Я положил его назад в ящик и стал рассматривать камеру, открыл заднюю стенку, куда вставлялась пленка, повертел туда-сюда объектив. В луче света, падавшем в окно, роились пылинки.

Лиз только что обнаружила себя в маленьком зеркале. Обрадованная этим зрелищем, она оглядела себя со всех сторон, затем снова обернулась ко мне:

– А что, если я еще никогда ни с кем не целовалась?

– Да ну?

Сестра прикусила губу и умолкла.

– Ты же сама все время рассказываешь, как ты там целовалась то с одним, то с другим. – (Фотоаппарат качался на ремешке.) – Только об этом и говоришь.

– Я хочу, чтобы первый поцелуй у меня был особенным, я...

Послышался скрип. На пороге появился наш брат. Если в доме где-то секретничали, верное чутье всегда выводило его на след. Дьявольская ухмылка на его лице подсказала нам, что он подслушивал.

Марти было тогда тринадцать – нелюдимый карьерист в очках с железной оправой, тощий и бледный, как кусок мела. Ребенок, не терпящий детворы, лепившейся к взрослым, и сознательно выбиравший одиночество. Сестра всегда его затмевала, подставляла, где только возможно, в школе не обращала на него внимания и все время смеялась над ним, потому что у него нет друзей. И тут вдруг такой подарок свыше – у него оказалась секретная информация, которая в один миг могла погубить репутацию Лиз в школе!

– Интересно, – сказал Марти. – Так, значит, ты боишься и потому отшиваешь всех парней? Потому что ты маленькая девочка и тебе больше нравится рисовать всякую муру и ластиться к мамочке?

Лиз в первый момент даже онемела.

– Если ты посмеешь это кому-нибудь рассказать, я...

– Что – ты? – захохотал Марти, громко зачмокав, как будто целуется.

Лиз ринулась на него. Они стали пинаться ногами, вцепившись друг другу в волосы. Я принялся их разнимать и даже не заметил, кто именно выбил у меня из рук камеру, а только увидел, как она пролетела по воздуху и прямо объективом упала на...

– Черт!

Сразу же наступила тишина. Я поднял «Лейку». На объективе была трещина.

Мы посоветовались, что делать.

– Давайте просто положим ее обратно в ящик. Может, он ничего не заметит, – сказала Лиз.

Как всегда, последнее слово осталось за ней.

В этот день папа вернулся домой неожиданно рано. Он был какой-то взбудораженный и тотчас же скрылся в своем кабинете.

– Пошли! – распорядилась Лиз.

Втроем мы наблюдали в щелку, как за дверью папа сначала ходил взад-вперед, то и дело ероша волосы. Затем он снял трубку зеленого телефона и стал крутить диск, набирая номер.

– Это опять я, – произнес он с привычным мягким французским акцентом. – Я хотел вам сказать, Стефан, что вы совершаете ошибку. Нельзя же вот так просто...

Собеседник на другом конце, кажется, дал ему отлуп, наш папа заметно поник. Он только изредка пытался вставить «Но вы же...» или «Нет, это все-таки...», один раз даже умоляющим тоном «Пожалуйста!», но собеседник не давал ему говорить.

– Что же вы хотя бы не намекнули, – сказал наконец папа. – И это после двенадцати лет! Не могу же я...

И снова его перебили на полуслове. Тогда он просто положил трубку.

Он вышел на середину комнаты и вдруг замер без движения, как машина, которой внезапно отключили питание. Это было жутко.

Наконец он снова ожил. Он подошел к письменному столу, и я сразу догадался, какой ящик он сейчас откроет. Сперва он прочитал письмо, потом достал из футляра «Лейку». При виде разбитого объектива папа вздрогнул. Вернув камеру и письмо в ящик, он подошел к окну. И тут вдруг заплакал. Нам было не понять, из-за чего он плачет – из-за телефонного разговора, или из-за «Лейки», или из-за подавленности, появившейся у него в эти годы. Мы поняли только одно: нам не хочется это видеть – и молча разошлись по своим комнатам.

* * *

После Нового года наши родители собрались уехать на выходные. Спонтанная поездка, по-видимому, была связана с увольнением нашего отца, но мама сказала только, что они поедут в Монпелье навестить друзей и не могут взять нас с собой, а за нами присмотрит тетушка.

– За нами не нужно присматривать, мы же не малые дети, – сказала Лиз. – Мне уже четырнадцать.

Мама поцеловала ее в лобик:

- Это главным образом нужно ради твоих коллег мужского пола.

- Благодарю, я слышал, что ты сказала, - откликнулся Марти, не отрываясь от газеты.

В нашем мюнхенском доме было еще девять жильцов. Одной из соседок была Марлен Якоби - молодая, необыкновенно хорошенькая вдовушка, одевавшаяся во все темное. Она ходила всегда одна, и я не понимал, как можно жить в таком одиночестве. Зато Лиз ею очень восхищалась и, встретившись с ней на лестнице или на улице, всегда приходила в большое волнение. В таких случаях она толкала меня в бок или щипала меня за плечо.

- Ну до чего же она красивая! - говорила Лиз с придыханием.

Это обожание зашло так далеко, что мы с Марти начали дразнить Лиз этой пассией.

- Только что приходила Якоби, - сказали мы ей в тот день. - Ты разминулась с ней на несколько секунд. Она была красива, как никогда.

- Да ну вас, - сказала Лиз с напускным равнодушием. - Я не верю ни слову.

- А вот и правда. Она спрашивала, где ты, - сказали мы. - Она хочет на тебе жениться.

- Вы как маленькие, вам бы все дурачиться, - ответила Лиз, удобно пристраиваясь на диван к маме.

- Угадай, мама, - сказала она, с усмешкой глядя на меня, - кто у нас недавно впервые целовался с девочкой?

Мама тотчас же обратила взгляд на меня.

- Это правда? - спросила она.

В ее тоне мне послышалась уважительность. Я уже забыл, кто что тогда говорил, но помню, как мама вдруг встала с дивана и поставила пластинку. Это

была песня Паоло Конте «Via con me»[10 - «Уйдем отсюда со мной» (ит.)]. Она протянула мне руку.

– Запомни, Жюль, – сказала она. – Когда ты захочешь завоевать девушку, пригласи ее танцевать под эту песню. С этой песней она непременно станет твоей.

Мама засмеялась. Только спустя годы я вдруг осознал, что она тогда впервые говорила со мной на равных.

Незадолго до отъезда родителей я поссорился с папой. Расскажу лучше так, как это запало мне в память.

Я куда-то пробежал мимо спальни, где папа укладывал в дорогу вещи. Мне показалось, что лицо у него измученное.

– Хорошо, что ты пришел, – сказал он. – Мне нужно с тобой поговорить.

Я встал в дверях, прислонясь к косяку:

– Ну что?

Он не сразу приступил к главному, начав с разговора о том, что вечно его тревожило: мои старшие приятели, мол, ему не нравятся, «у тебя дурная компания». Только после этого он заговорил о своем рождественском подарке, о фотокамере:

– Она у тебя все так и лежит в углу. Ведь ты, кажется, еще ни разу не пробовал ее фотографировать? Ты даже не рассмотрел ее хорошенько.

Мне вдруг стало жалко папу, и я отвел глаза.

– Это по-настоящему хорошая вещь. Я бы в твоём возрасте обрадовался такому фотоаппарату.

– Я не знаю, как им фотографировать. Он такой громоздкий и старый.

Тут отец выпрямился и шагнул ко мне. Удивительно, до чего он крупный и долговязый мужчина.

– Как ты не понимаешь, этот аппарат – классика! – На миг его лицо помолодело, и на нем мелькнуло мальчишеское выражение. – Он лучше новых, потому что одушевленный. Когда мы вернемся, я покажу тебе, как им фотографировать и как проявлять. Договорились?

Я неуверенно кивнул.

– У тебя, Жюль, хороший глаз. Я был бы рад, если ты в будущем решишь заняться фотографией, – сказал отец, и эти слова я тоже запомнил навсегда.

Что мне еще запомнилось с того вечера? Хотя бы то, как мама на прощание поцеловала меня в лоб. Я тысячи раз вспоминал этот последний поцелуй и объятие, ее запах и успокаивающий голос. Я вспоминал все это так часто, что теперь уже сам не уверен, было ли это на самом деле.

* * *

Выходные мы, дети, провели дома. Играли с тетушкой в «Малефиц»[11 - Настольная игра. Название образовано от лат. maleficus – злодей.]. Лиз, как всегда, интересовало только одно – как бы запереть фишки Марти своими фишками. А вечером я приготовил на всех омлет с грибами по рецепту, которому меня научила мама.

В субботу мы с Лиз ходили в кино, поэтому, когда папа с дороги позвонил домой, там оказался один только Марти. Родители неожиданно решили задержаться еще на несколько дней. Взяв в аренду машину, они собрались сделать крюк, чтобы заехать в Бердильяк.

Я ничего не имел против и даже обрадовался при мысли о подарках и французском сыре, который они привезут оттуда.

И вот настало восьмое января, воскресенье. Впоследствии я много лет сам себе внушал, что у меня было тогда смутное предчувствие, но, скорее всего, это чепуха. Ближе к вечеру зазвонил телефон. Когда тетушка сняла трубку, я сразу

почувствовал какую-то перемену в атмосфере и сел. Марти замер на ходу. Все остальные детали выпали у меня из памяти. Я не помню, чем занимался утром, что я делал после звонка и почему сестры в тот вечер не было дома.

Все, что осталось у меня от того дня, – воспоминание об одном эпизоде, чье значение открылось лишь годы спустя.

В тот день я в боевом настроении прибежал в гостиную. Лиз рисовала комиксы, брат сидел рядом и обычным своим корявым мышинным почерком строчил письмо Гуннару Нурдалю. Это был его друг по переписке, но мы с Лиз упорно говорили, что никакого Гуннара Нурдаля не существует в природе и Марти его просто выдумал.

Я встал перед братом, приняв боксерскую позу. Я тогда переживал фазу увлечения Мохаммедом Али и воображал себя замечательным имитатором, особенно мне нравились его фанфаронские реплики.

– Эй, бумажная крыса! – сказал я Марти. – Держись! Сегодня твой черед, дядя Том несчастный!

– Уймись, Жюль. Ты же даже не знаешь, что значит «дядя Том».

Я хлопнул его по плечу. Не дождавшись реакции, хлопнул еще раз. Брат замахнулся, чтобы отбиться от меня, но я отскочил и принялся боксировать с тенью.

– Порхать, как бабочка, жалить, как пчела!

Наверное, я был не лучшим имитатором Мохаммеда Али, однако хорошо научился его манере быстро приплясывать на месте.

Лиз с интересом следила за нами, ожидая, что будет дальше.

Я снова шлепнул Марти.

– Готовься, во втором раунде тебе конец! – зарычал я, выпучив глаза. – Я одолел в схватке аллигатора, на молнии защелкнул наручники, засадил в тюрьму гром.

На прошлой неделе я уколошил скалу, покалечил камень и отправил кирпич на больничную койку. Ты же такой урод, что во время боя я не буду на тебя даже смотреть.

- Не мешай!

- И правда, нечего ему мешать, - насмешливо сказала Лиз. - Он опять пишет письмо воображаемому норвежскому другу.

- Да ну вас! Как же вы мне надоели! - сказал Марти.

На этот раз я дал ему подзатыльник, но перестарался, и у него сорвалось перо. Брат подскочил и помчался меня догонять. Мы сцепились, сперва как будто всерьез, но, так как я продолжал выкрикивать на разный манер, что я самый великий, Марти не выдержал и невольно расхохотался. Мы отпустили друг друга.

Примерно в эти самые минуты мои родители завели арендованный «рено», чтобы ехать в Бердильяк к бабушке. Одновременно с ними одна молодая адвокатесса села в свою «тойоту». Ей нужно было в Монпелье, куда ее пригласили на ужин, и она хотела приехать точно в назначенный час. Ее машину занесло на мокрой мостовой, и она вылетела на встречную полосу, а там столкнулась с «рено», в котором ехали мои родители. Два человека погибли на месте.

Молодая адвокатесса кое-как выжила.

Кристаллизация

(1984-1987)

Дальше - сплошной кошмар, недоумение и непроглядный туман, сквозь который лишь изредка проступают обрывки воспоминаний. Как я стою у окна своей мюнхенской комнаты, глядя на дворик с качелями и домиком на дереве, где в переплетении ветвей запутался утренний свет. Это мой последний день в нашей

мюнхенской квартире, откуда вывезена вся мебель. Я слышу, как меня зовет Марти:

- Ты скоро, Жюль?

Я нехотя отворачиваюсь от окна. У меня мелькает мысль, что мои глаза больше никогда не увидят любимый дворик, но я ничего не чувствую – не чувствую даже, что детство закончилось.

Вскоре после этого – первая ночь в интернате, куда мы приехали с опозданием и где меня разлучили с братом и сестрой. С чемоданом в руке я иду за воспитателем по унылому, покрытому линолеумом коридору, вокруг стоит запах уксуса. Воспитатель шагает слишком быстро, и я за ним еле поспеваю. Наконец он открывает какую-то дверь. Комната с тремя кроватями, две из них уже кем-то заняты. Моргая заспанными глазами, из них выглядывают дети. Чтобы не мешать им, я выключаю свет и раздеваюсь уже в темноте. Прячу под подушку плюшевого зверя. Лежа в новой кровати, я вспоминаю родителей, брата и сестру: они где-то здесь, поблизости, но в то же время недостижимо далеко от меня. Я ни секунды не плакал.

Вспоминается еще один день, уже зимой, несколько недель спустя. Шквальный ветер порывами проносится над заснеженной холмистой местностью. Застегнув анорак и прикрывая ладонью лицо, я иду по глубокому снегу. Из носа течет, башмаки приминают свежесвыпавший снег, при каждом шаге из-под подошв раздается скрип. Морозный воздух обжигает легкие. Через час я сажусь на ледяную скамейку и смотрю сверху на долину. Погруженная в безмолвие, она лежит совершенно чужая. Я воображаю себе, как прыгаю вниз, и только когда до сверкающего снежного покрова остается несколько метров, меня подхватывает воздух – в последний миг, и от этого захватывает дух. И вот я быстро набираю высоту, взмываю ввысь, ускоряюсь, ветер бьет мне в лицо, и я устремляюсь к горизонту, просто улетаю. Я оборачиваюсь на интернат из приятного далека и представляю себе, что они там сейчас без меня делают. Как они катаются на санках, разговаривают о девчонках, как они дурачатся и задирают друг друга, иногда заходя слишком далеко, но в следующий миг все опять забыто. Постепенно в сгущающихся сумерках загораются первые огоньки, а я размышляю о своей прежней, так нечаянно оборвавшейся жизни в Мюнхене, но тоска по родному дому проступает зажившим и уже побелевшим шрамом.

В интернат я возвращаюсь поздно, уже под черным ночным небом. Открываю парадную дверь. Из столовки до меня доносится бодряческий гомон, в нос резко ударяет волна запахов – пахнет съестным, потом и дезодорантом. Атмосфера насыщена надеждами, смехом и скрытыми страхами. Я бегу по коридору и вижу идущего мне навстречу незнакомого мальчика. Он подозрительно вглядывается в меня, новичка. Я инстинктивно приосаниваюсь, стараясь выглядеть повзрослее и не допустить какого-нибудь промаха. Разминувшись со мной, мальчик без слов проходит мимо.

Вот я и пришел, сел у себя в комнате на кровать, смахиваю застрявший в волосах снег. Я тут, и я есть призрак, крохотное существо одиннадцати лет. Оцепенелый и пустой сижу в комнате, в то время как другие ушли на ужин. Потом меня накажут за то, что я его прогулял. Я сижу, уставясь в темноту.

* * *

Интернат, куда отправили нас троих после смерти родителей, не принадлежал к числу тех элитарных заведений, где есть теннисные и хоккейные площадки, гончарные мастерские, как мы сначала воображали. Это был дешевый государственный интернат, расположенный в сельской местности, – два серых здания и столовая, которые находились на территории гимназии. По утрам мы отправлялись в одну школу с местными детьми, вторую половину дня и вечер проводили у себя в комнатах, или у озера, или на футбольном поле. К такой казарменной жизни со временем привыкаешь, но все же и спустя годы ощущаешь себя обделенным, когда видишь, как многие ученики после занятий расходятся по домам, а ты, словно арестант, остаешься на территории интерната, точно на тебе лежит какое-то клеймо. Ты делишь спартанскую комнату с чужими людьми, иногда вы становитесь друзьями. Через год тебе приходится переселяться. Трудно привыкать к тому, что твоя жизнь поделена на определенные отрезки времени и пространства, в этой жизни бывало много раздоров, но бывали и разговоры до рассвета. Крайне редко мы говорили о вещах действительно важных, о чем никогда не решились бы завести речь при свете дня. Большею частью разговоры касались учителей и девочек: «Сегодня за столом она, кажется, опять посматривала на меня?» или «Неужели ты ее не знаешь? Да ну тебя, Моро! Она же самая красивая во всей этой паршивой школе».

Многие из учеников интерната попали на заметку еще дома, некоторые были второгодниками, другие уже пробовали наркотики. Случалось, что в интернат заносило и особо отличившихся хулиганов с криминальным прошлым. И тогда деревенские ребята в растерянности смотрели, что вытворяют ворвавшиеся в их сельскую идиллию городские.

– Ты что, тоже интернатский? – спрашивали они, подразумевая, что интернат – это нечто вроде сумасшедшего дома.

За столом мы с жадностью съедали все, что дадут, не оставляя ни крошки. В нас жило постоянное ощущение голода, неутолимое ничем. Зато в воздухе интерната, как белый шум в эфире, без конца носились слухи. Там четко отслеживалось, кто с кем говорил, кто с кем подружился и кто пользуется успехом у девочек. Не все изменения получали одобрение. Случалось, что новая шмотка, обладатель которой сначала с гордостью ее на себе демонстрировал, затем навсегда отправлялась в шкаф, если не получала одобрения окружающих. Некоторые из проходящих учеников, вернувшись после каникул из дома, где их самооценка заметно повышалась, пытались что-то изменить в своем привычном имидже, но в большинстве случаев уже через несколько дней возвращались к старому. Ты навсегда оставался тем, кем однажды сделался в чужих глазах.

Если в прежние годы я в душе всегда был уверен в себе, то теперь бывали моменты, когда, заметив, как чуть брезжущий луч осветит темную переднюю или как в сумерках под деревьями на землю ложатся призрачные тени, я вдруг испытывал от этого зрелища какое-то щемящее чувство. Мысль о том, что я нахожусь на планете, которая мчится в пространстве с невероятной скоростью, так же поражала мое воображение, как и то, что я однажды неизбежно должен умереть. Мои страхи разрастались, как расходящаяся трещина. Я начал бояться темноты, смерти, вечности. Эти мысли шипом вонзились в мой мир, и чем чаще я обо всем этом задумывался, тем больше отдалялся от безмятежных, веселых одноклассников. Я был одинок. И тут я встретился с Альвой.

* * *

В один из первых дней в новой школе я во время урока отпустил шуточку. В прежней моей школе от меня этого только и ждали, но, еще не добравшись до сути фразы, я уже понял, что здесь это не сработает. Взглянув на незнакомые лица своих одноклассников, я вдруг почувствовал, что моя самоуверенность

внезапно испарилась, а в конце моего выступления никто не засмеялся. Это раз и навсегда закрепило за мной мою дальнейшую роль. Я был в их глазах странный новенький мальчик, который не заботится о том, что ему утром надеть, от нервности иногда перековеркивает слова и может, например, сказать «клыратый» вместо «крылатый». Поэтому, чтобы не стать всеобщим посмешищем, я вообще предпочитал помалкивать и сидел на последней парте в полной изоляции. Пока вдруг, спустя несколько недель, ко мне за парту не села одна девочка.

У Альвы были медно-рыжие волосы, и она носила очки в роговой оправе. На первый взгляд – милая, скромная деревенская девочка, цветными карандашами переписывающая к себе в тетрадку то, что записано на доске. Однако в ней чувствовалось и что-то другое. Иногда Альва, казалось, нарочно избегала общения с другими детьми. В такие дни она мрачно смотрела в окно, и вид у нее был совершенно отсутствующий. Я не знал, почему она захотела сесть рядом со мной, мы не обменялись ни единым словом. Ее подружки хихикали, поглядывая на нас, а две недели спустя я уже снова сидел в своем углу один. Альва пересела от меня на другое место так же неожиданно, как тогда села со мной.

С тех пор я во время уроков часто поглядывал в ее сторону. Когда ее вызывали к доске отвечать, я наблюдал, как она смущенно стоит лицом к классу, сцепив руки за спиной. Я слушал ее тихий голос и разглядывал ее рыжие волосы, очки, белую кожу и хорошенькое бледное личико. Но больше всего мне нравились ее передние зубы с небольшой щербинкой из-за того, что один рос кривовато. Альва старалась говорить так, чтобы не слишком раскрывать рот, а когда смеялась, то прикрывала рот ладошкой. Но случалось, что она, вдруг забывшись, улыбалась, и тогда показывался кривоватый резец. Эти мгновения я особенно любил. Весь смысл жизни сводился для меня к тому, чтобы поймать взгляд сидевшей за несколько рядов от меня Альвы, а дождавшись ответного взгляда, я смущенно отводил глаза совершенно счастливый.

Несколько месяцев спустя произошел, однако, особенный случай. Был жаркий летний день, и нам на последнем уроке включили фильм, это была экранизация книги Эриха Кестнера[12 - Кестнер Эрих – немецкий писатель, сценарист, известный своими произведениями для детей.]. Посреди фильма Альва расплакалась. Она вся съежилась на стуле, плечи у нее вздрагивали, затем вырвался громкий всхлип. На нее стали оборачиваться другие школьники. Учительница поспешно выключила видеопроектор – в это время на экране шла сцена в летнем лагере, – и подошла к Альве. Когда они выходили из класса,

я успел мельком увидеть ее покрасневшее лицо. Кажется, мы все тогда были напуганы, но почти не обсуждали случившееся. Только один из ребят сказал, что отец Альвы никогда не приходит на беседу с учителями в родительский день, да и вообще он какой-то странный, – может быть, она расплакалась из-за этого. Я часто думал потом над услышанным, но никогда не заговаривал с Альвой на эту тему. Что бы там ни случилось, ее горе произошло потаенно, и Альва с тех пор крепко хранила свой секрет.

Через несколько дней я шел один, возвращаясь после занятий в интернат.

– Жюль! погоди! – Это Альва дернула меня за рубашку и держала, пока я не обернулся. Она пошла рядом и проводила меня до парадного входа.

– Что ты будешь делать? – спросила она, пока мы нерешительно топтались под дверью.

Она всегда говорила очень тихо, и, чтобы расслышать ее, поневоле нужно было к ней наклониться. Альва была проходящей ученицей и жила у себя дома, но, казалось, ей не особенно хочется возвращаться домой.

Я взглянул на пасмурное небо:

– Не знаю. Наверное, слушать музыку.

Она взглянула на меня и покраснела.

– Хочешь тоже послушать? – спросил я ее.

Она кивнула.

К моему облегчению, никого из моих сожителей не оказалось в комнате. В наследство от мамы мне достался проигрыватель и ее собрание пластинок – около ста альбомов, в нем были Марвин Гэй, Эрта Китт, Мик Флитвуд и Джон Колтрейн.

Я поставил «Pink Moon» [13 - «Розовая луна» (англ.)] Ника Дрейка, один из любимых маминых альбомов. Раньше музыка меня мало интересовала, теперь же

шорох от прикосновения иглы к виниловой пластинке означал для меня мгновение счастья.

У Альвы был чрезвычайно сосредоточенный вид, и на лице не было заметно никакого движения.

– Мне очень понравилось, – сказала она.

Почему-то вместо стула она решила сесть на мой письменный стол. Достав из рюкзака какую-то книжку, она принялась молча читать, как будто чувствовала себя в моей комнате как дома. Мне было приятно, что ей у меня хорошо. Пробившийся сквозь тучи солнечный луч залил комнату густо-золотым светом.

– Что это ты читаешь? – спросил я через некоторое время. – Интересная книжка?

– Угу, – кивнула Альва и показала обложку: «Убить пересмешника» Харпер Ли.

Ей, как и мне, было одиннадцать лет. И я опять смотрел, как она погрузилась в чтение, ее глаза так и бегали по строчкам слева направо и назад, непрерывно.

Наконец она захлопнула книжку и стала изучать мои вещи. Странное существо, нечаянно залетевшее в мою комнату и с любопытством разглядывающее комиксы про Человека-паука, а также фотокамеры, лежавшие у меня на полке. Сначала она подержала «Мамию», потом другие модели, которыми мой отец часто снимал в последние годы. Она сознательно трогала все предметы, словно желая убедиться в их реальности.

– Я никогда не видела, как ты фотографируешь.

Я пожал плечами. Альва протянула руку за фотографией с папой и мамой.

– У тебя умерли родители.

Эти слова застали меня врасплох. Кажется, я даже сразу выключил музыку. После переезда в интернат я никому об этом не рассказывал.

– С чего ты взяла? – спросил я.

– Спросила у воспитательницы.

– Почему?

Она ничего не ответила.

– Да, полгода назад они умерли. – Каждое слово давалось мне с таким усилием, словно я заступом копал мерзлую землю.

Альва кивнула и посмотрела мне в глаза необычайно долгим взглядом, и я никогда не забуду, как мы тогда заглянули во внутренний мир друг друга. На краткий миг я увидел страдание, скрытое за ее словами и жестами, и навсегда сохранил его глубоко в душе. Но на этом мы остановились и больше ни о чем друг друга не спросили.

* * *

Каких-то три года спустя, в конце 1986 года, мы с Альвой уже были лучшими друзьями. По несколько раз в неделю мы вместе слушали музыку. Время от времени она рассказывала что-нибудь о себе: что она восхищается спортсменами, что ее родители – врачи или что она после школы хочет поехать в Россию, в страну своих любимых писателей. Но никогда мы не говорили о том, что действительно было для нас важно и почему она тогда расплакалась в классе при просмотре фильма.

Наступал наш четырнадцатый день рождения, и в нашем восьмом классе образовался глубокий разлом. По одну сторону были Альва и ребята, которым по виду можно было дать на несколько лет больше, они выглядели более крепкими и возмужавшими, а высказывались громче других. По другую сторону оказались те, кто медленнее вырос, – неуклюжие и отстающие в физическом развитии аутсайдеры, включая меня. Я уже несколько лет никак не прибавлял в росте, и если в детские годы у меня просматривались какие-то признаки одаренности, то эту часть отрочества я пребывал в состоянии перманентной бездарности. Я и раньше любил помечтать в тишине, но, с другой стороны, проявлял и бойкость. Теперь, когда эта сторона исчезла, я все больше замыкался и порой сам ненавидел себя за то, во что превратился.

Как-то вечером – дело было осенью – я отправился в западный флигель навестить брата. Для детей младшего возраста вроде меня, кто еще не достиг переходного периода к возмужанию, это было опасное предприятие. На том этаже, где размещались только шестнадцати- и семнадцатилетние, в атмосфере чувствовалось то специфическое беспокойство, когда в какой-то момент на тебя вдруг что-то накатывает и от распирающей энергии или просто со скуки тебе хочется побороться, побиться на кулаках, подраться или громко заорать. Я видел, как кто-то из старших нервно шатается по вестибюлю, другие сидели с открытой дверью у себя в комнатах, уставившись в стенку, точно строили какие-то коварные планы, некоторые бросали на меня неприязненные взгляды, как хищные звери, недовольные тем, что кто-то непрошено вторгся на их территорию.

Комната моего брата была в самом конце коридора. В отличие от меня и сестры, последние годы никак на нем не сказались, хотя и терять ему, по сравнению с нами, было, можно сказать, нечего. Он, точно муравей после атомной войны, продолжал жить как ни в чем не бывало. А между тем он вымахал до метра девяноста – этакий тощий дылда с угловатыми движениями. Длинные волосы он завязывал в косичку. Ни дать ни взять Вуди Аллен, которого заставили повторно пережить пубертатный возраст. Одевался он исключительно во все черное и носил черное кожаное пальто, с утра до вечера изрекал реплики сплошь интеллектуального содержания, никто из нас и отдаленно не понимал, какой смысл он в них вкладывает, а горбатый нос и очки придавали ему вид экзистенциального пугала. У девушек он не имел успеха, зато сделался в шестнадцать лет предводителем банды странных чудиков. В состав теневой армии нашего Марти входили все иностранцы интерната, кроме них, к ней принадлежали всевозможные ботаники и заумники, а также его постоянный сосед по комнате Тони Бреннер, единственный на всю школу австриец, который из-за ярко выраженного венского акцента, согласно интернатской системе координат, был зачислен в маргиналы.

Когда до комнаты брата оставалось всего несколько шагов, передо мной выросли двое больших ребят. Один худой (прыщавый, он своим сиплым смехом и всклокоченными волосами напоминал гиену), а другой – здоровенный амбал, его внешность мне не запомнилась.

– Эй, Моро! – окликнул меня худой и схватил за плечо. – Куда это ты так торопишься?

Оба лыбились, чувствуя свое превосходство.

«Забавно, – подумал я. – Что вы о себе воображаете, клоуны!»

На мгновение во мне вспыхнула злость, как бывало раньше, когда я еще был драчуном. Но я тут же сник. С кем я вздумал тягаться? Я не дорос даже до ломки голоса, это же просто смешно!

Как можно громче я позвал брата, до его двери было не больше метра. Он будто не слышал. Я снова позвал его: «На помощь, Марти! Пожалуйста!» Я кричал и кричал, но дверь так и не открылась.

Оскалившись, парни потащили меня в душевую. По дороге туда к ним с радостными воплями присоединилось еще несколько школьников, и отбиваться приходилось уже от пятерых. Я брыкался как мог – безуспешно. Они поставили меня, одетого, под душ и держали, пока я не вымок до нитки. В душевой пахло дешевым шампунем и плесенью, я зажмурился, вокруг стоял хохот. Вдруг кто-то из них сказал, что будет забавно выставить меня без одежды на этаже девчонок. Под громкий ор меня снова схватили.

– Ненавижу вас!

Мне пришлось крепко сжать губы, чтобы удержать слезы.

– А ну, кончайте дурдом! – раздался чей-то голос.

В душевую зашел белокурый парень. Тони, с которым мой брат делил комнату. Сердце у меня радостно вздрогнуло. Тони был лыжник от бога, невысокий, но очень мускулистый, он часами занимался в спортзале, развивая силу. Тони подошел к тощей гиене и отшвырнул его в сторону так, что тот отлетел далеко к другой стене, остальные отступили.

Затем он подошел ко мне:

– Как ты? В порядке?

Я все еще дрожал, вода из душа шла холодная. Тони положил мне ладонь на плечо и отвел в комнату брата. Он немножко прихрамывал – следствие второй операции на колене. Пока что было неясно, не придется ли ему отказаться от задуманной карьеры лыжника.

Он вдруг заговорщицки улыбнулся:

– Ответила она уже на письмо?

Он хотел меня подбодрить. Как многие другие, Тони был смертельно влюблен в мою сестру. Месяца три-четыре назад мне было поручено передать ей от него любовное письмо, на которое она так и не ответила. С тех пор Тони постоянно задавал мне в шутку вопрос, прочитала ли наконец Лиз его послание.

В комнате брата с меня продолжала капать вода, по всему полу за мной тянулись мокрые следы. Марти, в последние годы фанатично увлекшийся компьютером, оторвался от своей ЭВМ:

– Что это с тобой?

Делая вид, что не слышу его, я отвернулся к окну, где ярко светились окна соседнего здания, вдалеке виднелись очертания черневшего в ночи леса. Марти снова склонился над клавиатурой своего бэушного «Коммодора», но сквозь притворную деловитость в нем проглядывала нечистая совесть.

– Ты мне не помог, – сказал я. – Я кричал и звал тебя.

– Я тебя не слышал.

– Ты слышал. Я был у тебя под дверью.

– Я действительно не услышал тебя, Жюль.

Я кинул на него сердитый взгляд:

– Если бы ты открыл дверь, они бы меняпустили. Тебе достаточно было только показаться на пороге.

Но брат уперся как баран, и в конце концов я сказал:

- Хотя бы признайся, что ты меня слышал. Тогда я тебя прощу.

Прошло еще несколько секунд, и, не дождавшись от Марти ответа, я вышел из комнаты. Когда я в те годы думал о брате, у меня перед глазами вставала закрытая дверь.

* * *

Мы пошли к озеру, я хотел кое-что показать Альве. Была пасмурная ледяная погода, и я впервые за эти годы взял с собой папину камеру. Сам я вышел тепло укутанный, в анорাকে, с шапкой на голове и завязанным шарфом, и мне бросилось в глаза, как легкомысленно одета Альва. Тоненькие джинсики, сверху – застиранная вязаная кофта. Как сбежавшая из секты беспризорная девочка. Ей, наверное, было холодно, но она не показывала вида.

Когда мы подошли к озеру, уже начинало смеркаться. Несколько проходящих воспитанников интерната катались по льду на коньках.

- Пошли, – сказал я Альве.

Я отвел ее к месту, которое находилось немного в стороне. Здесь было тихо, мы стояли одни на замерзшем озере.

Альва вскрикнула. Она заметила лисицу. Из-под льда виднелась ее окоченевшая мордочка, но часть тела еще выступала над замерзшим озером, разлохмаченная шкурка была усеяна ледяными кристаллами. Лисица словно окоченела в момент движения.

- Какая ужасная смерть! – дыхание Альвы вырывалось клубами пара. – Зачем ты мне это показываешь?

Я провел перчатками по льду, расчищая снег, чтобы лучше были видны красные глаза лисицы.

– Однажды я видел тонущую собаку. Но тут все иначе. Я подумал, тебе это может быть интересно. От этого веет покоем. Чем-то вечным.

– По-моему, это ужасно.

Альва отвернулась.

– Сейчас тебе это кажется ужасным, но готов поспорить, что через двадцать лет ты будешь вспоминать замерзшую лисицу. – Я невольно рассмеялся. – Даже на смертном одре ты еще будешь вспоминать замерзшую лисицу.

– Не придуривайся, Жюль.

Я сделал несколько снимков, и мы пошли назад в деревню. На небе гасли последние отблески вечерней зари, и местность вокруг нас погружалась в темноту. Похолодало, я сжал в кулаки засунутые в карманы руки. Наконец мы подошли к кафе.

Очувившись в тепле, Альва стала растирать руки. С недавних пор она начала красить ногти, и я подозрительно покосился на ярко-красные кончики ее пальцев: знак перемен и прощания с прошлым. Попивая горячий шоколад, мы говорили о моей сестре: у той снова были неприятности из-за того, что она ночью, ничего не сказав, удрала из интерната.

– Я слышал, что ее скоро вытурят, – сказал я. – Она ни к чему не относится серьезно.

– Мне нравится твоя сестра, – сказала Альва. Как-то раз они мельком встретились в моей комнате. – По-моему, она замечательная красавица. Мне бы такую красавицу-сестру!

Я не знал, что на это ответить. Затем я увидел, как под окном крадучись прошел тот, кого я называл Гиеной. Я проводил его злобным взглядом. Альва же посмотрела на меня так внимательно, что я смутился. Однажды я в приливе откровенности рассказал ей о моем приключении в душевой и теперь боялся, что она считает меня слабаком.

– Надо было дать ему в морду, – расхорохорился я, прихлебывая какао. – Вот раньше бы я его... Сам не знаю, почему я ничего не сделал.

Альва засмеялась:

– Я думаю, Жюль, это хорошо, что ты ничего не сделал. Он же гораздо больше тебя.

Приподняв одну бровь, она спросила:

– Сколько в тебе, вообще-то, росточку?

– Метр шестьдесят.

– Брось! Какие там метр шестьдесят. А ну-ка, встань рядом со мной, давай померяемся.

Мы поднялись и встали возле стола. Как ни обидно, Альва оказалась выше меня на несколько сантиметров. Пару секунд мы стояли совсем рядом, я вдыхал сладковатый запах ее новых духов. Затем она снова села.

– Между прочим, у тебя коричневые усики от какао, – сказала она.

– Знаешь, о чем я иногда думаю? – Я отер губы и посмотрел на нее с вызовом. – Все это как посев: интернат, школа, то, что случилось с моими родителями. Все это посеяно во мне, но я еще не понимаю, что из меня после этого получится. Только когда я повзрослею, настанет жатва, но тогда уже будет поздно.

Я ждал, как она отреагирует. К моему удивлению, Альва заулыбалась.

Сначала я не понял. Затем обернулся и увидел у себя за спиной большого мальчишку из средней ступени. Ему наверняка уже было шестнадцать. С самоуверенной актерской ухмылкой он направлялся в нашу сторону. Альва глядела на него с таким выражением, с каким еще никогда не смотрела на меня, и, пока этот парень разговаривал с ней, у меня появилось убийственное чувство собственной неполноценности. В последующие годы оно так до конца и не изжилось.

* * *

Возле столовой я обнаружил сестру. Она, как королева, восседала на скамейке в окружении одноклассников, покуривая сигарету. Лиз было тогда семнадцать, она была одета в парку с капюшоном и кеды, белокурые волосы падали ей на лоб. Для женщины она была очень рослой – метр восемьдесят, не меньше. Она все еще предпочитала передвигаться не шагом, а бегом, частенько путала внешнее восхищение с искренним чувством и поступала по своему хотению. У Лиз было игривое любопытство к мужскому телу. Когда ей кто-то нравился, она, вместо того чтобы медлить и осторожничать, сразу же хватала наживку. На каникулах она убегала с приятелями старше себя и уже дважды (не без некоторой гордости) возвращалась, доставленная домой полицией.

Сейчас она рассказывала про дискотеку в Мюнхене, ученики вокруг слушали с напряженным вниманием. В эту минуту к ней подошел студент, проходивший у нас педагогическую практику:

– Лиз, ты идешь? Дополнительный урок у тебя уже начался.

– Сейчас докурю и приду, – ответила моя сестра. – И вообще, я не понимаю, с какой стати я должна ходить на какие-то дополнительные уроки, пропади они пропадом!

У Лиз был низкий голос, невольно внушавший робость собеседнику. Притом говорила она всегда так громко, как будто играла перед публикой на театральной сцене. В каком-то смысле так оно и было на самом деле.

Она принялась на виду у собравшихся слушателей спорить с практикантом, поднимая оглушительный крик:

– К черту эту ерунду, не буду я этим заниматься, и не надейся!

Со всеми практикантами она разговаривала на «ты».

– И вообще, я нехорошо себя чувствую, – сказала она, потягивая косячок. – Я больна...

Но тут сама не выдержала и расхохоталась. Сделав напоследок глубокую затяжку, она со вздохом согласилась:

- Ладно уж, так и быть, приду через пять минут.

- Через три, - сказал молоденький практикант.

- Через пять, - заявила Лиз, поглядев на него с такой обворожительной и нахальной улыбкой, что он поскорей отвел глаза.

Все это происходило незадолго до рождественских каникул. На всех этажах перед входными дверьми были развешаны венки, на ужин давали пряники, мандарины и пунш. Общее предвкушение праздника создавало радостную атмосферу, которая, как колокол, накрывала интернат, но меня наступающие каникулы только раздражали. На территории интерната ни у кого не было родителей, и это связывало меня со всеми остальными. Но когда я оказывался у тетушки в Мюнхене, в то время как мои одноклассники уезжали домой к родителям, это отзывалось во мне болезненным чувством.

Нашей тетушке было тогда пятьдесят с небольшим. Добрая и ласковая, вечером она всегда сидела со стаканом вина в руке над разложенным на коленях кроссвордом. Утрата младшей сестры прогнала с ее лица жизнерадостное выражение, за прошедшие годы она располнела и производила впечатление человека, глядящего на игру, правила которой он перестал понимать. Несмотря ни на что, у тетушки хватало душевных сил заставить себя улыбнуться, когда нужно было нас ободрить. Она водила нас в боулинг и в кино, рассказывала нам истории из жизни наших родителей и была, кажется, единственным человеком, способным что-то понять в сложном характере моего брата Марти. Поздно вечером они часто сидели вдвоем на кухне, пили чай и беседовали. В ее присутствии в голосе брата исчезала интонация заносчивого превосходства, а иногда, рассказывая ей о том, как безнадежно ему не везет с девушками, он даже позволял тетушке подержать себя в объятиях.

В дни рождественских праздников мы соорудили себе на полу ее гостиной матрасное ложе. Лиз, у которой все вещи валялись обычно как попало. И Марти, который тщательно раскладывал свои и так гладко заправлял кровать, что на нее было страшно садиться. Казалось немного странным, что брат и сестра тут, рядом. Мы тогда редко делали что-то вместе, слишком много параллельных

миров существовало в интернате; даже оказавшись во время обеда за соседними столами, мы все равно были так далеки друг от друга, словно жили в разных странах. Но теперь, улегшись втроем перед телевизором, мы вместе смотрели документальный фильм про фараона Рамзеса Второго. Оказывается, Рамзес считал, что был могущественным не просто с самого рождения, а еще тогда, когда находился во чреве матери. Он называл себя «сильным в яйце». Мы все ухватились за этот образ. «А ты силен в яйце?» – хохоча, спрашивали мы друг друга. Разговаривая о ком-то, кто в чем-нибудь облажался, мы добавляли: «Что тут скажешь! Не был он сильным в яйце».

Наутро после Рождества я зашел в чулан за свечками и обнаружил там сестру. Она поспешно захлопнула за мной дверь.

– Merry Christmas, малыш, – сказала она.

Лиз поцеловала меня и спокойно продолжила скручивать себе косячок. Я зачарованно наблюдал, как она, закрыв глаза, облизнула папиросную бумагу.

– Слушай, а с Альвой-то у вас что-нибудь закрутилось? – Сделав затяжку, она выпустила дым маленькими колечками. – Она же тебе очень подходит.

– Ничего такого, мы просто дружим.

Сестра с сожалением кивнула, затем толкнула меня в бок:

– Ты хоть раз целовался с девочкой?

– Нет, ни разу с тех пор, как... Неужели не помнишь?

Лиз помотала головой. Она и раньше жила как будто только настоящим и сразу все забывала, я же любил подолгу разглядывать пережитое с разных сторон, соображая, под какую рубрику его подвести.

– Не удивительно, что у тебя нет подружки.

Она окинула взглядом мою одежду, которую мы с тетушкой купили в «Вулворте».

- Ты же одеваешься, как какой-то восьмилеток. Надо будет как-нибудь сходить с тобой за шмотками.

- Так, значит, мне надо стать круче?

Лиз задумчиво взглянула на меня сверху вниз:

- Вот, слушай. Я скажу тебе что-то очень важное, никогда этого не забывай.

Я наострил уши. Знал, что поверю каждому ее слову.

- Ты не крутой, - сказала она. - К сожалению, это так, и в этом ты никогда ничего не изменишь. Так что лучше и не пытайся. Но ты можешь, по крайней мере, сделать такой вид.

Я кивнул:

- Это правда, что тебя скоро выпрут?

Лиз наморщила нос:

- Чего? Это кто распускает такие слухи?

- Без понятия. Просто так говорят. Что, если тебя вдруг застукают с какими-нибудь наркотиками? Ладно бы гашиш... а если с чем-то другим?

- Никто меня не застукает. Я сильна в яйце.

Я-то ожидал, что она скажет: «Таким я вообще не балуюсь». Но она не доставила мне такого удовольствия.

- Знаешь, - сказала она с жесткой улыбкой, - в последние недели много чего случилось. Иногда я и правда думаю: а не взять ли мне да и...

Она замолчала, мучительно подбирая слова.

– Что ты думаешь? Что случилось?

Ей, видимо, показалось забавным, как я на нее воззрился, однако Лиз только покачала головой.

– Да нет, ничего. Не думай об этом, малыш. Не выпрут меня из школы, о'кей? – подмигнула она мне. – Скорее уж я провалюсь на экзаменах.

Потом мы вместе с тетушкой украшали гостиную, по радио звучал шансон, и на какой-то миг все стало как прежде, только не хватало двух человек. Все было как прежде, если бы не одно – то, что все было совсем иным.

* * *

В сочельник ситуация усугубилась. В этом году Лиз впервые не подарила нам своих рисунков, зато, когда мы стали петь, она аккомпанировала нам на гитаре. В интернате я часто видел, как она, устроившись где-нибудь на ступеньке, на скамейке, на беговой дорожке, сосредоточенно училась играть. Но хотя у нее тоже был хороший голос, она отказывалась исполнять, как мама, «Moon River».

– Я скорее умру, чем сыграю эту несчастную песенку! – Лиз пристально изучала свои ногти. – Я ее всегда ненавидела.

– Ты ее любила, – тихо сказал Марти. – Мы все ее любили.

После застолья мы сели играть в «Малефиц». Долгое время казалось, что выигрывает Марти, пока мы с сестрой не объединились и не заперли его, окружив деревянными белыми фишками. Марти взвыл и обругал нас последними словами, в особенности когда Лиз выиграла и отметила свою победу торжествующими воплями.

Когда мы убрали игру, моя сестра, как бы невзначай, засунула одну из белых фишек себе в карман брюк.

– На счастье, – шепотом сказала она мне.

Это было лучшее мгновение того праздника. Вечер подходил к концу в мире и согласии, пока тетушка не спросила нас про интернат.

В то время как я отмалчивался, а Марти нудно перечислял свои жалобы, Лиз с вызывающей откровенностью говорила про гулянье допоздна на берегу озера, про вечеринки и мальчиков. Она с наслаждением разбирала по косточкам слабости учителей или неуклюжее поведение своих воздыхателей, то и дело раздражаясь циничным хохотом.

Марти поморщился:

– Ну сколько можно хвастаться своими подвигами, Лиз? Я не собираюсь тебя прерывать, но это же действует на нервы.

Типичная фразочка из лексикона Марти! Он всегда начинал словами «я не собираюсь» и делал то, от чего только что отказывался.

Лиз только отмахнулась:

– Ты просто завидуешь, потому что у тебя все еще нет подружки. Знаешь, как в интернате называют твою комнату? Мастурбационная келья.

– Как-как? – встрепенулась тетушка.

– Ой, помолчи уж лучше! – бросил Марти, теребя ворот кожаного пальто, которое не снимал даже в теплой комнате. Лицо его было цвета лежалой бумаги, длинные волосы были жирные, вдобавок он еще отпустил козлиную бородку. Зачуханный представитель преступного мира из Филадельфии, которому хоть сейчас впору отправиться на ограбление супермаркета, чтобы разжиться пятью долларами и пакетиком молока.

– Побеспокоилась бы лучше о том, что о тебе говорят в школе, – сказал он.

– Это почему же? Что они говорят?

– Да так, ничего, – сказал Марти, спохватившись, что допустил оплошность.

Лиз взглянула на него, потом на меня:

- Ты знаешь, о чем это он?

Я промолчал. Конечно же, я знал, что имел в виду брат. До меня тоже доходили слухи о том, какие истории рассказывают о моей сестре. Разумеется, все это было вранье. Лживые рассказы, пущенные разочарованными мальчишками и завистливыми девчонками. Но вообще-то, много ли я знал о своей сестре?

- Так что же они там говорят в школе? - присоединилась к расспросам тетушка.

- Что она... давалка, - брякнул Марти и сам испугался разрушительной силы своих слов. Я ясно видел, что он не хочет продолжать этот разговор, но не мог остановиться, словно какая-то неумолимая сила толкала его изнутри. - Что она за наркотики спит с мужчинами, - продолжал он. - Что от одного она даже забеременела.

Что-то громко звякнуло. Это Лиз кинула на тарелку десертную ложку. Она рывком вскочила со стула и выбежала из комнаты. Спустя несколько секунд мы услышали, как захлопнулась дверь квартиры. Я кинулся к окну и успел только увидеть, как сестра быстрым шагом скрылась в темноте.

На следующее утро она все-таки вернулась, но через несколько недель после Рождества Лиз бросила школу и на годы исчезла из моей жизни. Одной школьной приятельнице она сказала, что поступать в университет - это не для нее, она хочет повидать мир. Такая у нее внутренняя потребность. Я тогда долго пытался понять почему. Каждый день я ждал, что Лиз даст знать о себе подробным письмом, открыткой или хотя бы телефонным звонком. Ждал, как терпящий бедствие на тонущем судне, неустанно жмуций на кнопки рации в надежде поймать в эфире человеческий голос. Но от моей сестры, кроме белого шума, долгие годы ничего не было слышно.

Химические реакции

(1992)

Я ждал на парковочной площадке интерната, глядя на яркие следы самолетов на розовеющем горизонте. Как это часто бывало со мной, когда зрелище природы связывалось у меня с моими мечтами и воспоминаниями, я ощутил легкое посасывание в области желудка. В девятнадцать лет я был на пороге получения аттестата зрелости. Передо мной открывалось будущее, возбуждая обманчивый восторг, свойственный молодому человеку, еще не совершившему в жизни ни одной крупной ошибки.

Через четверть часа на территорию интерната наконец подъехал красный «фиат». Я сел на переднее пассажирское сиденье и поцеловал Альву в щечку.

– Как всегда, опаздываешь, – констатировал я.

– Мне нравится, когда ты ждешь.

Выжав сцепление, она быстро набрала скорость.

– Ну как там дома? – спросила она. – Какие-нибудь шашни с женщинами, о которых мне полагается знать?

– Ну, я же не дитя печали, как тебе известно...

– Ты, Жюль, дитя невероятной печали.

Альва не отставала и, уточнив вопрос, поинтересовалась об одной девочке из нашего класса (здесь было бы неуместно упоминать ее имя):

– Как там у тебя с ней? Виделся на каникулах?

– Обвиняемый ссылается на свое право хранить молчание.

– Да ладно, скажи уж! Есть сдвиги?

Я вздохнул:

– Мы не виделись.

– Да уж, месье Моро! От вас я ожидала чего-то большего.

– Очень остроумно! По-моему, она ко мне равнодушна...

– Разве ты не знаешь, как симпатично ты выглядишь? Разумеется, она к тебе неравнодушна.

Альва широко улыбнулась. Она любила оказывать мне моральную поддержку и разыгрывать из себя сваху.

Здесь нужно сказать, что за эти годы я сильно вытянулся. Волосы у меня были черные, как у отца, от него я унаследовал и густую растительность на лице, а брился только от случая к случаю. Я сам удивлялся, какой у меня взрослый вид и каким хищным и жестким стал мой взгляд. За последние годы в школе у меня случились два романа, но они почти никак меня не затронули. Гораздо больше меня в этот период интересовала фотография. Я изучил все, что касается химических реакций, необходимых для проявления негативов. В подвале под интернатом нашлось пустующее помещение, и мне позволили использовать его под фотолабораторию.

Часто меня тянуло на природу, я мог часами просиживать с отцовской фотокамерой на берегу или бродить по лугам и лесам, прежде чем поздно вечером вернуться с собранной добычей. Увиденное через объектив «Мамии», все вокруг словно по-новому наполнялось жизнью: на древесной коре проступали лица, структура воды обретала осмысленность, даже люди внезапно представляли другими, и зачастую я начинал по-настоящему понимать выражение их глаз, лишь рассмотрев его через видоискатель фотоаппарата.

– Отныне я больше не желаю слышать никаких отговорок, – настойчиво продолжала рядом со мной Альва. – Нельзя же все время оставаться робким мальчиком!

И затем, уже словно заклиная меня:

– Ты же не хочешь так и уйти из школы, не дождавшись, когда между вами что-то произойдет?

Я молчал, повернувшись к окну. Окрестности постепенно погружались в сумерки. Казалось, что кто-то наносит грунтовку под грядущую ночь.

Через некоторое время Альва ткнула меня локтем:

– О чем ты думаешь, когда так смотришь?

– Ты о чем? Как смотрю?

Она изобразила на лице довольно удачную имитацию почти идиотского выражения погруженного в мир своих фантазий, задумчивого мечтателя.

– О чем ты думаешь? – повторила она вопрос, но я ничего не ответил.

С тех пор как я очутился в интернате, мы виделись почти каждый день. Альва стала для меня заменой семьи и во многом была ближе, чем брат и сестра или тетка. Но в последние годы она изменилась. Изредка все еще выпадали моменты, когда я мог вызвать у нее беспечный смех. Или когда мы, слушая музыку, обменявшись взглядами, без слов понимали, что? другой сейчас думает. Однако рядом с первой появилась и другая Альва – Альва, которая все чаще внутренне отдалялась от меня, сидела на скамейке и курила, ненавидя себя, и говорила, например, о том, что лучше ей было бы вообще не родиться.

Рыжеволосая, белокожая, она имела несколько поклонников, но лишь к семнадцати годам у нее впервые появился парень. После этого она раз или два попробовала завязать отношения с другими, но как-то нерешительно. Если Лиз, как мне представлялось, просто любила секс и в каждом мужчине могла увидеть нечто особенное, то, глядя на Альву, скорее можно было подумать, что она использует свое тело как оружие против самой себя. И едва лишь у кого-то начинало зарождаться к ней чувство, она тотчас же его отталкивала. Внутри Альвы словно что-то разбилось на мелкие осколки, ранившие всякого, кто решался приблизиться.

В семнадцать лет она вообще отвернулась от мужчин. Казалось, любая форма отношений вызывает у нее неподдельное отвращение, пошли даже слухи, будто бы она предпочитает женщин. Или что она со странностями. Альва относилась к этому с полнейшим безразличием. Вместо этого она училась как одержимая и читала философские книги: Сартра и бесконечного Кьеркегора. С недавних пор у

нее, правда, снова появился друг, но эту тему мы никогда не обсуждали.

В тот вечер мы поехали в какой-то кабак. По пути Альва должна была позвонить матери из автомата. «С Жюлем, – услышал я ее голос. – Нет, его ты не знаешь, это другой. – Она говорила все громче. – Вернусь, когда меня это будет устраивать», – выкрикнула она под конец и резко повесила трубку.

Мать Альвы с нездоровой бдительностью следила за тем, куда пошла ее дочь, и Альва не раз грозила ей, что после выпускных экзаменов уедет от нее навсегда. Однако что именно между ними произошло, я в точности не знал. Альва с самого начала не давала мне соприкоснуться со своей семьей, а все вопросы о родителях натыкались на стену молчания. Несколько раз я заходил за ней, но она всегда встречала меня на крыльце, чтобы только не впустить меня в дом.

– Все о'кей? – спросил я, когда она снова села в машину.

Она кивнула и включила зажигание, но было видно, что она переживает, и мне показалось, что глаза у нее сделались на тон темнее, чем были. Альва вообще, как правило, водила машину на предельной скорости, а тут и вовсе помчалась как бешеная, не притормаживая на виражах. Она опустила боковое стекло, и ветер трепал ее волосы. Это был один из тех моментов, когда я – не знаю, как сказать иначе, – чувствовал, что она каким-то образом несет мне опасность. Эту игру Альва вела со мной уже не первый месяц. Она знала, что я боюсь ее быстрой езды и что, с другой стороны, не хочу показывать, что боюсь. Поэтому она все больше лихачила, входя в крутой поворот на своем красном «фиате»; казалось, ее забавляет, как я упорно молчу, а сам извиваюсь, словно уж на сковородке. С каждым разом она заходила в этой забаве чуть дальше. И вот в этот вечер, видя, что она никогда не остановится и готова дойти до любой крайности, я сдался.

– Давай помедленнее, – сказал я, когда она приготовилась срезать следующий поворот.

– Боишься?

– Да, черт побери! Давай, пожалуйста, помедленнее.

Альва тотчас же сбросила газ, кинув на меня торжествующую и какую-то загадочную улыбку.

Она припарковала свой красный «фиат» перед загаженной деревенской пивной «Джекпот», где собирались абитуриенты. Музыкальный автомат крутил в основном старомодный рок, бильярдный стол был обшарпанный. В конце зала, рядом с мишенью для дартса, стояло два игровых автомата, магически притягивавших к себе забубенных неудачников со всей округи.

Вместо того чтобы зайти в пивную, мы сначала посидели в машине. Альва включила радио на небольшую громкость и открыла банку пива. Затем, бросив на меня многозначительный взгляд, произнесла:

– Открой бардачок.

Я обнаружил в нем четырехугольный пакет в яркой обертке.

– Это мне?

Она кивнула, и я разорвал обертку. Альбом фотографий на память о нашем детстве и юности, каждый снимок сопровождался специальным стишком. На это нужно было потратить не один час.

Я был так растроган, что в первый момент не мог ничего сказать.

– Почему ты решила это сделать?

Она как бы небрежно бросила:

– Просто подумала, что тебе будет приятно.

Я стал смотреть фотографии, на них мы были засняты у озера, во время поездок на экскурсии и фестивали, на уличном празднике в Мюнхене, в моей интернатской комнате. Я обнял Альву, и она, увидев мою неподдельную радость, покраснела.

Как уже часто бывало, она заговорила о своей любимой книге «Сердце – одинокий охотник» американки Карсон Маккаллерс.

– Прочти ее, наконец, – сказала она.

– Хорошо, – ответил я. – Как-нибудь обязательно прочитаю.

– Пожалуйста, Жюль. Я хочу узнать, как она тебе. Хотя бы то, как ее персонажи беспокойно бродят в ночи, и то, как все они собираются в одном кафе, единственном открытом по ночам. – Альва всегда начинала волноваться, когда говорила о книгах. – Хотела бы и я быть таким литературным персонажем. Полночицей, которая бродит по улицам города и находит пристанище в каком-то кафе.

Альва говорила тихим голосом, но глаза у нее горели, и мне это очень нравилось.

Я рассказал ей, как провел каникулы в Мюнхене и побывал в доме, где жил в детстве.

– Там все изменилось после ремонта, исчезли даже качели во дворе и домик на дереве, теперь на том месте растут цветы. Все выглядит не так, как прежде, и стало совсем чужим. Когда я туда зашел, то почувствовал, что за мной наблюдают, будто я вор.

В отличие от меня, Альва почти никогда не заговаривала о своем прошлом. Только один раз она рассказала мне, как в самые счастливые дни детства ее охватывала болезненная тоска оттого, что и этот миг скоро пройдет. И чем больше я думал об этих словах, тем больше узнавал в этом замечании свои собственные чувства.

Я смотрел, как из дверей «Джекпота» вышли двое наших одноклассников.

– Хочешь кое-что попробовать? – спросила Альва.

Я не знал, что ответить, но почему-то решил, что сначала надо сесть прямо. Тут я увидел, что она скручивает косячок. До тех пор я ни разу не пробовал

наркотиков.

- А как же, - сказал я. - Где ты это достала?

- Я же стою во главе наркокартеля, разве я тебе об этом еще не рассказывала?

- Стоишь во главе? Уже бывало, чтобы по твоему приказу кого-нибудь шлепнули?

- Несколько раз случалось, иначе было нельзя.

Она кинула на меня мрачный взгляд, вполне убедительный.

На самом деле до сих пор Альва относилась к наркотикам очень сдержанно. Скрутив косяк, она затянулась, затем передала его мне.

- Затянись поглубже и не выпускай дым сразу.

Я кивнул, закашлялся с первой попытки, но потом дело пошло, и в голове у меня зашумело. Я поудобнее развалился на сиденье и снова стал вспоминать квартиру, из которой мне пришлось уехать ребенком. К своему испугу, я с трудом мог вызвать перед глазами точные образы, я уже почти не помнил, как выглядела каждая комната. Где на кухне висели часы? Какие картинки размещались на стене моей комнаты?

Пока я соображал, в памяти у меня всплыло удаляющееся такси, в свете фонарей оно заворачивало за угол. Снова и снова повторяясь, эта сценка вставала у меня перед глазами. Я хотел крикнуть что-то вслед уезжающему такси, но оно уже скрылось из вида. Я сознавал, что в этой картине есть что-то для меня очень важное, но в то же время это воспоминание еще не созрело, оно было похоже на фотографию, лежащую в проявителе.

- Что-то не так? - спросила Альва.

- Нет. А что?

- Ты дрожишь.

Тут я и сам это заметил и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. В конце концов я успокоился, и мысль об уезжающем такси померкла в моем воображении.

- Как твои брат и сестра? – спросила Альва. – Ты часто с ними видишься?

Я сделал новую глубокую затяжку и подумал, рассказать ей об отчужденности, которая закралась в наши отношения, или нет. Но я только пожал плечами:

- Сестра, кажется, живет сейчас в Лондоне, а брат в Вене.

- Значит, ты с ними почти не видишься?

- Да... По правде говоря, мы вообще не видимся.

Альва забрала у меня косяк и затянулась так, что кончик у него засветился красным огоньком. Она сделала радио погромче и закрыла глаза, немного посидела не шевелясь. Затем, по-прежнему не открывая глаз, взяла меня за руку. Только это, ничего больше – она не придвинулась ко мне, а просто держала за руку. Я пожал ее ладонь. Она мою тоже. Затем убрала руку.

* * *

В субботу после долгой разлуки неожиданно приехал Марти. Он заглянул в мою комнату, и мы пошли к его машине – бэушному «мерседесу». Я так и не разобрался, чем еще, помимо информатики, занимается мой брат, но, судя по всему, он поучаствовал в нескольких успешных проектах. Недавно он вместе со своим бывшим соседом по комнате и каким-то богатым однокурсником открыл фирму, работавшую в области информационных технологий и сетевой связи, для меня эти вещи были абстрактными понятиями. Несчастливые годы в интернате, казалось, только укрепили его волю; из прошлого, настоящего и будущего Марти выстроил трехступенчатую лестницу, которая круто вела его вверх.

- Так ты думаешь, что с фирмой дела у вас пойдут? – спросил я.

- Народ к нам бегом побежит, – ухмыльнулся мой брат. – Мы сильны в яйце.

Мы подошли к машине. Я обрадовался, увидев, что и Тони тоже приехал. Он был все такой же мускулистый, как в школьные годы. Лениво прислонившись к машине с водительской стороны, он грыз яблоко.

– А вот и Жюль Моро, – сказал он.

– И Антон Бреннер.

Мы обнялись.

Несколько лет назад я вступил в команду легкоатлетов, с тех пор мы с Тони часто качали «железо» в тренировочном зале интерната. Иногда после тренировки шли вместе выпить пива. Он обучил меня несколькими карточными фокусам и продолжал все время восхищаться моей сестрой Лиз. Потом, когда после очередной операции на колене Тони стал негоден для спорта, он счел, что тем самым заслужил право жениться на Лиз.

На вопрос об этом он только покривился:

– Ответила она наконец на мое любовное письмо?

Вместе мы пошли на озеро. Марти в приступе гениального прозрения вещал о будущем Интернета («Это будет новый мир, Жюль. Старый мир измерен вдоль и поперек, но скоро мы снова станем первооткрывателями»), а я разглядывал его прикид: аккуратную прическу, очки без оправы, пиджак, плетеные кожаные башмаки. Из чудика в черном, точно бабочка из кокона, вылупился вдруг гарвардский интеллектual высокого полета. Хотя лицо моего брата, с его длинным носом и тонкими губами, не отличалось красотой (как выразилась однажды Лиз: «Физиономия вроде халтурного карандашного наброска Семпе»[14 - Семпе Жан-Жак (р. 1932) – известный французский карикатурист.]), в целом его внешность, по сравнению со школьными годами, стала намного привлекательнее, и кипучей энергии в нем было через край.

– Я всегда говорил – из твоего брата выйдет классный менеджер, – сказал Тони, – а я уж как-нибудь зацеплюсь за него.

От навязчивых действий Марти, правда, так и не избавился: ни одной лужи на пути он не мог пропустить, ему непременно надо было ступить в каждую. Еще в интернате он не мог выйти из комнаты, чтобы при этом несколько раз не нажать на дверную ручку. Иногда четыре раза, иногда все двенадцать, а иногда почему-то восемь. Очевидно, он с научной тщательностью разработал для этого безумия какую-то сложную логическую систему, но я, как ни считал, сколько раз он нажмет, так и не разобрался в его расчетах.

Тони и Марти расспрашивали меня об интернате. Что тут скажешь? За девять лет я так хорошо освоил роль жизнерадостного, общительного воспитанника, что в какие-то минуты и сам верил в свою беззаботность. Но я по-прежнему никогда не заговаривал о родителях. Моей заветной мечтой было сбросить с себя сиротство и стать просто нормальным мальчишкой. Воспоминания о родителях, плотно упакованные, пылились в дальнем углу моего сознания, и если раньше я часто ходил в Мюнхене к ним на могилу, то в последнее время давно уже туда не навещался.

– Не хочу вешать на тебя лишние заботы, – сказал Марти, – но у Лиз плохи дела. На днях она была у меня в Вене и выглядела паршиво. Она слишком увлекается всякой дрянью.

– Это ее давняя привычка.

– Я о серьезных, тяжелых наркотиках. И кажется, она теперь жалеет, что бросила школу.

– С чего ты это взял?

– Она показалась мне печальной, когда пошла проводить меня до университета. Я просто знаю, что она жалеет.

Я не знал, что на это ответить. Несколько лет от Лиз почти совсем не было вестей, а сейчас у нас установилась хоть какая-то связь. В последний раз я виделся с ней несколько месяцев назад в Мюнхене. Как всегда, это была беглая встреча.

Решив переменить тему, брат стал рассказывать мне о своей подружке Элене, с которой он познакомился в университете. Когда я спросил, любит ли он ее,

Марти только махнул рукой.

– Любовь! – произнес он. – Это дурацкое понятие из литературы, Жюль. На самом деле это всего лишь химические реакции.

* * *

Я бегал во всю прыть по стометровой дорожке. На траве лежала Альва, она читала. Песчанистая лужайка и дорожка для стометровки были в убогом состоянии, но все равно спортивная площадка была вроде как душа интерната. Здесь после уроков собирались разные группки, чтобы обсудить планы на вечер, почитать или просто убить время.

Я был хороший бегун, не ставил рекордов, однако на соревнованиях, бывало, выигрывал, выступая за нашу команду легкой атлетики. Отдуваясь, я остановился возле Альвы. В руках у нее была рекламовская книжечка[15 - Имеется в виду книжка немецкого издательства «Reclam», знаменитого своими дешевыми изданиями классической литературы.] в мягкой обложке. За чтением что-то в ней немного менялось. Лицо расслаблялось, губы приоткрывались, она становилась неприступной и защищенной.

Я успел различить две строчки какого-то стихотворения и прочел вслух:

Царица смерть

Над нами властна.

– Очень вдохновляюще, – сказал я. – И что там дальше?

Альва захлопнула книжку.

– А ну-ка, пробеги еще один круг! – весело скомандовала она.

После тренировки я принял душ, переоделся и вернулся к ней со своей камерой. Несколько раз я щелкнул ее, затем улегся рядом с ней на траву. По-моему, Альва первая заговорила о том, что в будущем непременно хочет завести детей.

- И сколько же? - поинтересовался я.

- Мне хочется двух девочек. Одна - очень самостоятельная и часто спорит со мной, вторая - очень привязчивая и всегда приходит ко мне за советом. Еще она пишет стихи, в которых нет смысла.

- А вдруг обе девочки получатся непослушными и со странностями?

- Немножко со странностями - не страшно, - улыбнулась Альва.

Морщинка посреди ее лба разгладилась.

Затем она сказала уже серьезно:

- Предупреждаю, Жюль: если у меня к тридцати еще не будет детей и у тебя тоже не будет, то я хочу родить от тебя. Ты будешь хорошим отцом, в этом я совершенно убеждена.

- Но это значит, что сперва нам нужно спать друг с другом.

- С этим злом я как-нибудь примирюсь.

- Ладно, ты примиришься. Но кто сказал, что я на это готов?

Она высоко подняла брови:

- А разве нет?

На секунду разговор смолк.

От смущения я перевел взгляд в сторону интерната. Раскаленный цемент парковочной площадки сверкал на солнце тысячами стеклянных осколков.

- Да, конечно, звучит неплохо, - сказал я. - Но я не хочу быть старым отцом. Тридцать и для меня крайний предел. Так что в случае чего я готов тебя обрюхатить.

– А вдруг к тридцати мы совсем разойдемся?

– Такого никогда не может случиться.

Она посмотрела на меня долгим взглядом:

– Такое всегда возможно.

Кошачьи глаза Альвы были зеленого цвета, не бледные и не тусклые, как долларовая бумажка, а яркие и блестящие. Зеленый цвет глаз чарующе контрастировал с рыжим цветом ее волос, однако во взгляде проглядывала какая-то сдержанность, почти что холодность. Это был взгляд не девятнадцатилетней девушки, а ко всему безразличной, уже немолодой женщины. Но когда она произносила: «Такое всегда возможно», что-то в ее взгляде изменилось и весь холод совершенно исчез.

На плечо ей упала капля, мы взглянули вверх. Солнце заволокло густыми тучами, неожиданно прогремел гром. Через несколько секунд на нас хлынул ливень.

Похватав свои вещи, мы со всех ног бросились спасаться ко мне в комнату. Альва обнаружила бутылку джина, оставленную Тони после его последнего посещения. Она как-то невзначай все подливала мне и себе, и мы не заметили, как все выпили. Алкоголь придал мне развязности, Альва же, напротив, держалась напряженно.

– Он меня бросил, – неожиданно сказала она.

Ее другу, несимпатичному грубоватому торговцу автомобилями, было больше двадцати. Она покачала головой:

– Наверное, ему надоело встречаться с таким дерьмом, как я. Ну что ж, заслужила!

– Неправда! Ты слишком хороша для этого идиота.

– Уж поверь – я действительно заслужила. – И почти насмешливо добавила. – Ты, Жюль, вообще видишь во мне что-то, чего нет.

– Как раз наоборот. Ты сама не видишь, какая ты.

Пожимая плечами, она допила свою рюмку и налила еще. Ее слегка качнуло.

«Спасибо, Тони, – подумал я. – Не знаю, почему ты принес мне этот джин, но я твой должник».

Мне вспомнилось, как тогда в «фиате» она взяла меня за руку.

– Помнишь, как ты в пятом классе села ко мне за парту?

– Что это ты вдруг?

– Просто так... А почему ты так сделала?

– Ты был новенький, в странной одежде, в синих и красных носках, все на тебе не подходило одно к другому. И весь из себя такой грустный и покинутый, и все над тобой посмеивались.

– Правда? А я и не заметил!

– Еще они смеялись над тобой, потому что ты коверкал слова. «Лоходильник» – это я с тех пор запомнила. Или «ухотугий» вместо «тугоухий».

Взяв утяжеляющий жилет, который я всегда надевал для бега, Альва взвесила его на руке:

– Я села рядом с тобой, чтобы ты не был один. Но когда все принялись меня дразнить, будто я в тебя втюрилась, я пересела на другую парту.

– Слабо? тебе оказалось выстоять!

– Да, это так.

Мы обменялись долгим взглядом.

- А ты ведь пьяна, Альва, - сказал я.

- Нет, Жюль, это ты пьян. С каких это пор ты пьешь джин?

- Я всегда его пил. Каждый день по бутылке перед уроками. - Я подошел ближе и взял у нее из рук жилет. - Ты еще многого обо мне не знаешь.

Она пристально посмотрела на меня:

- Вот как? И чего же?

В комнате стало тихо. Чем дольше вопрос повисал в воздухе, тем больше менялось ее выражение от кокетливого к серьезному. Я хохотнул, но мой смешок был больше похож на хрип.

Видя, что Альва не хочет взять на себя режиссуру этой сцены, я, следуя внутреннему ощущению, включил музыку - песню Паоло Конте «Via Con Me», которую ставила мне мама незадолго до смерти.

Я посмотрел на Альву, волосы мокрыми прядями свисали ей на лицо. Платье липло к ее телу, и она то и дело осторожно поправляла его, натягивая на колени. И тут я начал двигаться под музыку. Колени у меня дрожали.

- А ты, оказывается, хорошо танцуешь, - в ее голосе слышалось удивление.

Я не ответил, а попытался втянуть ее в танец. Видя, что она отмахивается, я даже протянул руку.

- Пойдем, - сказал я, - только одну песню... Давай!

Изображая экспрессивную итальянскую жестикуляцию, я театрально шевелил губами вместе с певцом:

It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful,

Good luck, my baby.

It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful,

I dream of you[16 - Чудесно, чудесно, чудесно,Удачи, моя малышка.Чудесно, чудесно, чудесно,Я мечтаю о тебе.(англ.)].

У Альвы вырвался короткий смешок, но она тут же помрачнела, и мне вдруг показалось, что мысленно она где-то далеко. Вся ее напряженность вдруг куда-то исчезла, и один раз она даже помотала головой. Я чуть не задохнулся от досады. Сжав губы, я, как дурачок, мужественно потанцевал еще немного, но в конце концов выключил музыку, а вскоре Альва собрала свои вещи и ушла.

* * *

Каникулы на праздниках Троицы прошли в 1992 году без происшествий, пока в один прекрасный день я не застал тетушку на кухне какой-то погруженной в себя, глаза у нее странно блестели. С испугом я заметил, как она постарела. А затем вдруг понял. Сегодняшнее число было днем, когда раньше праздновалось мамино рождение. Мне стало стыдно: оказывается, я совершенно об этом забыл. Но из вежливости я согласился, когда тетушка пожелала сесть со мной на диван, чтобы вместе посмотреть семейные фотографии.

Я посмотрел на маму маленькой девочкой, подростком и девушкой с короткой модной стрижкой, в мини-юбочке среди группы студентов. Ее восхищенный взгляд был устремлен на молодого человека приятной наружности, стоящего рядом. Он был в белой рубашке с закатанными рукавами и коротким галстуком; не вынимая изо рта трубку, он увлеченно говорил что-то присутствующим, глаза его блестели.

- Твой отец говорил так увлекательно, был так обаятелен и умен, - сказала тетушка. - Он мог спорить часами.

На следующем снимке я обнаружил свою бабушку-француженку, у которой и тогда уже была знакомая жесткая складка губ. А вот и маленький Марти с его колонией муравьев! Лиз в платьицах «принцесс», с розовым бантом на голове, а на заднем плане - я сам, глядящий на нее, вылупив глаза. На другом снимке я, уже девятилетний, стою на кухне, сосредоточенно следя за кастрюлей на плите.

На меня тут же нахлынули знакомые кухонные запахи. Уже много лет я не стряпал, но, кажется, я любил это занятие. Или, может быть, мне так только показалось под впечатлением фотографий? Я стал проверять память, и неожиданно начали всплывать все более отчетливые воспоминания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23931425&lfrom=201227127) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Сноски

1

«Писатель бульварных романов» (англ.).

2

Бабуля (фр.).

3

Заросли вечнозеленых кустарников.

4

Распространенная во Франции игра в шары.

5

Район Мюнхена.

6

«Ночь тиха» (нем.), «До наступления Рождества» (фр.) – популярные рождественские песни.

7

«Лунная река» (англ.).

8

Лунная река, шириной больше мили,

Однажды я с легкостью переплыву тебя.

О, источник грез и разрушительница сердец,

Куда бы ты ни следовала, я пойду тем же путем.

(англ.)

9

«Крабат – ученик колдуна» – повесть для детей Отфрида Пройслера.

10

«Уйдем отсюда со мной» (ит.).

11

Настольная игра. Название образовано от лат. *maleficus* – злодей.

12

Кестнер Эрих – немецкий писатель, сценарист, известный своими произведениями для детей.

13

«Розовая луна» (англ.).

14

Семпе Жан-Жак (р. 1932) – известный французский карикатурист.

15

Имеется в виду книжка немецкого издательства «Reclam», знаменитого своими дешевыми изданиями классической литературы.

16

Чудесно, чудесно, чудесно,

Удачи, моя малышка.

Чудесно, чудесно, чудесно,

Я мечтаю о тебе.

(англ.)

Купити: <https://telnovel.com/benedikt-vells/konec-odinochestva-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)